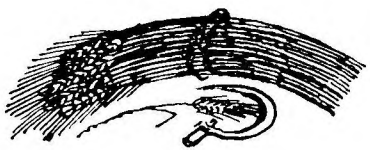
Черкез-Али

ЗЕЛЕНЫЕ ВОЛНЫ



Черкез-Али

ЗЕЛЕНЫЕ ВОЛНЫ



Повести

Перевел с татарского Эрвин Умеров

Ташкент
Издательство ЦК ЛКСМ Узбекистана
«ЁШ ГВАРДИЯ»
1982



В книгу известного крымско-татарского писателя включены две повести. В повести «Зеленые волны» изображены события послевоенных лет, период освоения целинных и залежных земель Казахстана. Действие второй повести «Родные» происходит в Голодной степи Узбекистана.

А $\frac{70303—158}{356\ (04)—82}$ 23—82 4702570000

© Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1976.
© «Ёш гвардия», 1982, перевод.

Зеленые волны

ВМЕСТО ЭПИГРАФА

Осман-ага*, отец Ведута, женился рано, лет семнадцати. Как тот путник, что рано трогается в путь и к зениту солнца одолевает значительную часть дороги, Осман к сорока пяти годам стал главой многодетного семейства. Жена родила ему одиннадцать детей. Ведут — самый старший из них. Но вырос в этой семье и двенадцатый ребенок, Виктор Османович Малышев-Муратов, одногодок Ведута, но старше его на четыре месяца и двадцать девять дней. А появился маленький белоголовый Витя, Витка, как его звали в доме Османа-ага, перед самой войной.

Как-то вечером, вернувшись с работы, отец пообнимал высыпавших ему навстречу детишек, и показалось ему, что их несколько многовато. Посчитал: шестеро голов (остальные шесть уже после войны народились). Одна из них совсем белая.

— Послушай, жена, что-то эти твои дети совсем сбили меня с толку,— обратился Осман-ага к Кямиле-апте**.— Сколько их у нас всего, не помнишь?

---

* Акай, ага — брат, вообще уважительное обращение к старшему по возрасту мужчине.

** Апте — тетушка, уважительное обращение к старшей по возрасту женщине.

— Ты совсем очумел, что ли?! — удивилась жена. — Не помнишь, сколько мы нарожали детей?

— Вроде, помнил,— засмеялся Осман-ага.— Но вот сосчитай-ка сама эту босую бригаду!

Сосчитала Кямиле-апте. Оказалось: шесть. Приблудный мальчик, Витка, был внуком Полины Мартыновны, жившей на другом конце деревни. Мать мальчика умерла при родах. Отец с горя запил, погиб, упав с коня. Виктор остался с болезненной престарелой бабушкой. Старуха почти не вставала с постели, смотреть за внуком она не могла. Предоставленный самому себе, Витя прибился к шумной многочисленной ораве ребят Османа-ага, и в один прекрасный день был обнаружен главой семейства благодаря своим соломенного цвета волосам.

— Пусть живет. Лишний сын не помешает,— потрепал головку мальчика Осман-ага.

— И пусть его,— согласилась Кямиле-апте.— Вот говорят мне иные злоязычные: чего, мол, ты, Кямиле, заладила: рожаешь да рожаешь? А по мне, пусть рождаются. Больше детей — больше радости. Иди, помой руки, Витка, садись к столу.

Для матери, говорят, плохих детей не бывает. Камиле-апте, конечно, любила всех своих детей, одинаково смотрела за ними всеми, но, как говорится, сердцу не прикажешь. Первенец, Ведут, чем больше подрастал, мужал, тем больше становился похож на отца и нравом, и статью: мать глядела на него и душа ее ликовала. Она пылинке не давала сесть на старшенького, гордилась его походкой и степенностью, его разговорами и делами. Он казался ей лучшим из лучших на свете, красивым, умным, работящим. И в последнем Ведут пошел в отца: научился у него шоферскому ремеслу и водил машину в одном пригородном автохозяйстве.

Но в последнее время будто подменили парня: бро-

сил работу. Принес отцу отпускные и расчетные — и все. Ни на новую работу не идет, ни объясняет, почему ушел со старой. Не поладил с людьми, провинился в чем-то? Неизвестно. Мается в догадках мать, а приступить к сыну с расспросами не может. И отец поначалу помалкивал, с недоумением поглядывал на Ведуту. Что-то, мол, не узнаю я тебя, сын, сам на себя не похож... А тому хоть бы что. Поздно встает, на весь день исчезает из дому, поздно приходит.

Сегодня Осман-ага вернулся с работы усталый, хмурый. Прошел на кухню, где жена мыла посуду. Поняв, что Ведута опять нет дома, спросил зло:

— Где шляется твой любимчик ненаглядный?

Кямиле-апте вместо ответа пуще прежнего загремела посудой.

— Появится, спроси, до каких пор намерен собак гонять по улице? И пошли кого-нибудь из ребят к Витке, поговорить надо.

Виктор работал в поселке по соседству с городом и жил в рабочем общежитии. Приезжал навестить родных в выходные дни, но тоже около месяца уже носа не казал дома. Что происходит со старшими детьми? Думал, помощники выросли, а они вон как!

Совсем расстроенный, Осман-ага лег на топчан на веранде, где обычно коротал вечерние часы, отвернулся к стене.

Кямиле-апте редко видела мужа в таком настроении. Всегда сдержанный, любит пошутить, а тут вон как его прорвало... Выходит, допекло Османа безделье сына. А может, боится чего похуже. От праздного человека всего можно ожидать...

В тот день Кямиле-апте не смогла поговорить с сыном. Ведут пришел поздно, когда все уже спали. Но утром, едва встав, он сам затеял разговор. Кямиле-апте показалось, что потолок обрушился на ее голову.

Сын заявил, что через неделю... уезжает по комсомольской путевке в Казахстан, поднимать целину.

— Сынок, если бы ты знал, как мы ждали, что вы вырастете, станете самостоятельными и... будете мне и отцу помощниками.

— Вот мы и будем помощниками!— весело воскликнул Ведут.— И вам будем помогать, и сами встанем на ноги.

— Кто это мы?— вскинулась мать.

— Мы с Виктором.

— Так и Витка с тобой? Вот почему он месяц дома не появлялся!

— До сих пор мы молчали, боясь, что отговаривать нас начнете. А теперь самое время поговорить. Не думаю, что отец будет против. Не такой он человек, чтобы не понять.

Мать заглянула в глаза сыну. Неужели он, ее самое дорогое чадо, тот, на которого она не могла наглядеться, которым гордилась, дорожила, бросит ее и уедет куда-то осваивать какие-то неведомые целинные земли?! Будто земли вокруг мало... Это что-то непонятное, невообразимое...

Ведут по-своему понял взгляд матери, обнял ее, поцеловал в лоб.

— И ты пойми, мать! На целине будут хорошие заработки. Построим себе дом. Работы — сколько хочешь, только работай. А тут... пора ведь выбираться из бараков. А в какую нас засунут квартиру, такую орду? Таких государство пока и не строит. Так и будем сидеть, ждать у моря погоды?

— Ишь, какой умник нашелся, наперед все рассчитал! Заикнись только отцу, он тебе покажет! Тут же пойдет куда надо и вычеркнет вашу фамилию. Будто здесь не хватает колес и дорог, чтобы работать, как все порядочные люди!

Ведут не стал спорить. Он знал, что мама ни в

какую не согласится. Какая мать захочет разлуки с детьми? Даже птицы, и те держат птенцов своих под крылом до самого последнего!

Осман-ага в полдень заехал домой пообедать. Ведут тоже против обыкновения был дома. Но он почему-то не спешил объясняться с родителями. Видно, побаивался все-таки попасть под горячую руку отца. Разговор пришлось затевать самой тетушке Кямиле.

— Осман, дети твои такое задумали, что язык не поворачивается повторить. Будто на месте, где они до сих пор жили, вдруг вода прорвалась...

Осман-ага поглядел на жену и взорвался:

— Ничего не пойму, какие «последствия», какая «вода»? Нельзя объяснить по-человечески? Или ты сам язык проглотил? — обернулся он к сыну. Ведут уловил во взгляде отца боязнь чего-то страшного, постыдного и неповторимого.

— Да нет, папа,— поспешно сказал он, шагнув навстречу отцу.— Мы с Виктором решили уехать в Казахстан. На целину.

Осман-ага какое-то время сидел, опустив бессильно руки, глядя в какую-то точку. Потом он вдруг порывисто встал, подбежал и крепко прижал к себе сына. Постояв так минуту-другую, он оттолкнул Ведута, закатил ему звонкую оплеуху и тут же, притянув его голову, трижды поцеловал его в покрасневшую от удара щеку.

— Осман, ты в своем уме?!— бросилась к нему Кямиле-апте.

— В своем! Ударил сына за то, что скрытный. Поцеловал за то, что несправедливо потерял к нему доверие. А сыну своему, крови своей, отец всегда должен доверять; если уверен, что воспитал его достойным себя. Выходит, я бил не сына, а себя. И, видимо, поделом. Иди, передай Витке, пусть едет домой, не боится. Я его видел возле заводского парка. И собирайтесь,

комсомольцы, беспокойные ваши сердца, раз собрались, в путь.

Тетушка Кямиле со слезами на глазах смотрела то на сына, то на мужа. И ничего не могла понять. И ничего не могла сказать. А что тут скажешь, когда сыновья и отец заодно? Значит, они лучше понимают друг друга, чем ты, мать, которая зачала одного из них под самым сердцем, родила в невыносимых муках, кормила с ложечки, нянчила, растила, и в один прекрасный день — прекрасный ли?! — не поняла его целей и устремлений...

Кямиле-апте вытерла глаза ситцевым передником и бессильно опустилась на стул. В ушах ее все еще звучал голос мужа: «Отец должен доверять сыну, если уверен, что воспитал его достойным себя...»

I. ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Был конец февраля тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года. По обледенелым улицам Павлодара, приткнувшегося на правом берегу Иртыша, пронзительный ветер метет поземку. Местный люд привычен и подготовлен к трескучим морозам, царящим здесь в это время. Особенно казахи. Они одеты в длинные тулупы из дубленого овечьего меха с широкими воротниками, на головах — низко закрывающие лоб и затылок шапки из лисьего меха — малахаи, такая же теплая обувка. Оденься вот так и топай на все четыре стороны — горючий ветер, сквозящий со злого Иртыша, тебе в копейку. Но... но «друзья», которые ехали «в дальние края», одеты кто во что горазд, иные и вовсе неподходяще к здешним условиям.

Группа Ведута и Виктора долго сидела в маленьком здании вокзала, не смея и носа высунуть наружу. Ребята прибыли ночью и потому надеялись, что днем мороз сдаст: выглянуло солнышко, заблестело через лучистое

марево. Но какая же зима уступает свои владения? Сковала землю полуметровым льдом в глубину, а сверху засыпала снегом в метр высотой.

Однако в народе говорится: вышедший в путь в дороге не останется. К вечеру новоселов растащили по разным углам Павлодарщины автобусы и крылатые машины, которые прибывали, кстати, наполовину загруженные теплыми вещами: шубами, валенками, шапками, одеялами и прочими полезными к случаю предметами.

Ведут с Виктором попали в совхоз «Зерновое», в ста восьмидесяти километрах от Павлодара. Палаточный городок целинников возник вокруг села, насчитывавшего всего двадцать семь дворов. Семейных расселили в домах местных жителей. Молодежь обосновалась в палатках, которые разбили сами же новоселы. В один день население села Зерновое выросло от ста трех человек до пятисот. Так образовалось первое отделение совхоза.

Второе отделение, примерно с таким же числом рабочих, появилось в ауле Катартал, в семнадцати километрах от Зернового. Между двумя отделениями, примерно на одинаковом расстоянии, росла, радуя глаз, березовая роща Джергаин — краса и гордость округи, где и одинокий куст в метр вышиной — большая радость. Кругом голая, пустынная, ровная, как стол, степь. Ковыль, бурьян, тощие кустики саксаула. И на этом пустом бесплодном месте должны были по весне заколыхаться волны громаднейшего зеленого моря, которое к осени зазолотится и даст стране невиданный урожай хлеба, основу и гарантию жизни.

Вновь прибывшие стали работать в ремонтных мастерских совхоза, в гараже и семенных амбарах, чтобы общими усилиями подготовить к посевной технику и семенное зерно. А скоро еще и строить предстоит, щитовые дома собирать.

Ведут и Виктор жили в одной палатке, как говорится, ели из одного казана и пили из одной кружки. Оба работали в гараже. Им обещали весной дать машины. За целый день наработаются в холодном цеху. К железу не притронуться — пальцы прилипают. А Виктор придет, умоется холодной водой — гр-р, бр-р!— оденется понарядней, даст кое-какие задания брату младшему и смоется. Ведут — добрая душа — белье постирает, приготовит ужин, сам поест, а потом ляжет и уснет. И не знает, когда братец возвратится. А тот и рад крутиться. Целый месяц крутился, а потом вдруг объявил: женится. Полюбил он Оксану из Воронежа, а она его. Видишь ли, таких белых волос и голубых глаз она не видывала.

Молодым надо вместе жить? Надо. Оксана живет с подругами, а Витка с Ведутом. Подруги должны уступить свою палатку (а их живет там четверо) или Ведут? Ведь Ведут не дурак, он понимает что к чему. Прихватил свои пожитки и айда в палатку к группе слесарей.

А там, видите ли, не пришелся по нраву характер Ведута. С ними жить, значит, надо каждый день покупать на троих «полбанки». Хочешь ты пить или не хочешь. И часов до двух ночи резаться в «дурачка» или еще хуже — в «очко». Пить — Ведут за всю жизнь еще не выпил, наверное, и бутылки вина. К спиртному у него была какая-то врожденная, что ли, неприязнь. А карты он впервые увидел здесь, в палатке этих горе-слесарей. И домино кажется ему наипустейшей забавой. Пытался убедить себя, что отстал от жизни, не понимает еще многого и пробовал играть. И получалось, что сам себя мучает. Вспоминалось, что мама рассказывала, когда он едва-едва научился ходить.

Жил когда-то давно в их деревне человек по прозвищу Давулджи Нафе. Было у него пятеро детей. Картежником был невероятным. Говорили ему старики,

чтобы отказался от этой страсти, пугали, что добром не кончит, если не образумится. Играй на своем давуле — барабане, ведь тебе нет равных по всей округе, говорили. Так нет, Нафе давул бросил, а в карты пуще прежнего начал играть. Вначале Нафе везло, он выиграл целую кучу денег. Потом начал проигрывать. Тут бы ему и одуматься, остановиться. Но нет. Связался в городе с себе подобными, проигрался, а платить было уже нечем. Не простили «дружки» проигрыша — убили, как ни умолял их Нафе пожалеть его. На том и кончились удовольствия Давулджи Нафе и от картежных игр, и от проигрышей, и от выигрышей. Остались сиротами пятеро детей. Суждено было из-за этого им расти в горести и бедности, в чужих руках, а старший сын перенял ремесло отца — стал давулджи, но обходил карты и картежников за три версты.

Вспоминает Ведут эту историю, и не то что самому играть — к играющим ненависть чувствует.

Неделю терпел Ведут, вторую, потом встретил как-то Виктора и не утерпел, вылил ему свою обиду.

— Ты, братец, хорошо устроился,— сказал он,— пригрелся возле Оксаны и на все стало тебе наплевать. Ты забыл, что мы братья. Ты забыл, что мы друзья, ты забыл спросить, как мне живется-можется. Не мозолю я тебе глаза — и ладно. А может, мне плохо, может, мне на луну выть хочется?

Обнял брата Виктор.

— Прости, Ведут, брат мой. Я виноват перед тобой. И вправду забыл о тебе, занятый своим счастьем. Скажи, кто тебя обидел, скажи, в чем тебе худо?

— Я одинок посреди этой бесконечной пустыни, как былинка, проклюнувшаяся из земли раньше весны. И в землю уйти обратно не могу, и в небеса взлететь...

Все понял Виктор. Тут же пошел, разыскал секретаря комсомольского комитета. Наутро Ведут, собрав

вещички, опять перебрался в другую палатку. Здесь жили молодые комбайнеры.

Трудно сказать, что преследовало парня. То ли неопытность, то ли невезучесть. В первые дни Ведут и здесь не мог пустить корни. Молодые комбайнеры в карты не играли, не злоупотребляли и спиртным, но у каждого в изголовье висело по гитаре. Едва сумерки, как все девушки поселка тут как тут — танцы, песни, хоровое пение. Каждый старается показать во что горазд, расходятся под утро. Никак не мог раскусить этих людей Ведут — и все тут. Никто никого не ругает, никто никого ни в чем не обвиняет, да и плохого, вроде, никто не делает. Все держатся так, будто родились от одних папы и мамы, или, во всяком случае, дети близких соседей...

Слушал, удивлялся Ведут день, два, а потом взял, да сам с ближайшей получки купил гитару. Остальные деньги отослал матери.

Однажды Ведут вошел в раж. Когда ему надоели пустые песни, что талдычили несколько записных музыкантов, он сорвал с гвоздя гитару, ударил всей пятерней по струнам и заиграл любимую отцом народную песню: «Эта красота не навеки тебе дана». Буйную палатку словно инеем сковало, льдами окутало. А когда он кончил играть и петь, все, как один, кинулись его тискать, целовать и благодарить. А одна, невысокая такая, полненькая, белолицая, которая всегда смеялась переливчатым серебряным смехом, та вообще впилась губами в его губы, а потом, смеясь, сказала во всеуслышанье: «Разве я вам не говорила, люди, что мой смугленький еще себя покажет?!»

Эту девушку звали Люсей. Упругие, теплые ласковые пальцы ее Ведут до сих пор чувствует на своем затылке...

Люся с первого взгляда влюбилась в Ведута. Стеснительный, немногословный, скромный? Так ведь это

хорошо! Болтливых, хвастливых, липучих, бойких — хоть отбавляй. Ими хоть пруд пруди. А ей по нраву больше такие, как Зеленый Малыш. Такое прозвище заработал Ведут. Пусть другие, более проворные, и дома получили, повыскочив замуж, и семьями обзавелись — Люсе такого счастья не нужно: чтоб все делалось ради дома, огорода, благополучия. Ей нужно большое красивое чувство. И большой красивый человек, такой, как Малыш, Ведут Муратов...

Люся Веденеева в этих краях считается красивой, одной из самых красивых девушек. И характером хорошая: скромная, добрая... Но и Ведут неплох: впору влюбиться в него такой раскрасавице, как Люся. Ростом высок, строен, в общем, как говорится, как тополь молодой, плечи широкие, худощав. Моложе всех в палатке, но уж если возьмет кого за пояс — берегись, как обручем охватит, тисками сожмет: не вдохнешь, не выдохнешь, а там, глядишь, и оземь шарахнет. Поглядеть только на него, как утром выбегает полуголый на улицу, делает гимнастику, натирается снегом! Бицепсы на руках, шее и торсе так натягиваются, напрягаются, что хоть иглы в них вонзай — не проткнешь. То-то этот Малыш за все время своего пребывания на Великой Целине ни разу не чихнул, ни кашлянул.

Ведут Муратов... И вправду парень, в которого трудно не влюбиться. Но в нем самом еще не пробудилось такое чувство, мысли его были заняты в основном ожиданием весны, когда обещали выдать им, новичкам, новые автомобили. Он приехал сюда не для весселья, не для легкой жизни, не для того, тем более, чтобы шашни заводить. Вот дождется он весны, сядет за баранку новенькой машины и покажет себя! А пока ничего, пусть называют Малышом, да еще зеленым. Кто «зеленый», а кто «зрелый» посмотрим весной, в широкой степи посреди зеленых волн, не без пафоса размышлял иногда Ведут. Я сюда работать приехал, оправдать доверие

отца-матери и комсомола, а не халам-балам творить...

И Ведут Муратов ждал весну, как тысячи и тысячи его сверстников... Первую целинную весну...

II. МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ ОСМАНА-АГА

У Камиле-апте сегодня радость — она письмо получила от сына. От Ведута своего ненаглядного. Как же не радоваться?! Прочитала письмишко несколько раз до прихода мужа, пригорюнилась: вот он где-то, на краю света, без отца-матери, горемычный, и брату приемному теперь не до него... и как-то все они там?.. А Осман-то, трудяга, знай камни свои возит из карьера... Баранка и колеса. Поди, за двух Османов наработал, а домой все не спешит... Все для дома, для детей старается.

И вот сидит Кямиле-апте, прижав письмо сына к груди, ждет Османа. А на столе, самом видном месте, небрежной стопкой деньги лежат. Их она тоже сегодня получила. От Витки своего и Ведута. Пусть отец войдет и сразу увидит. Почти пятьсот рублей. От сыновей своих....

— Это что за деньги? — спросил Осман-акай, едва переступив порог.

— Дети прислали,— ответила Камиле-апте с напускным безразличием. И подала мужу письмо Ведута.

Осман-ага не стал раздеваться — тут же принялся читать:

«Мои дорогие папа и мама! Как вы там поживаете? Получил новую машину, «техничку». Вожу по тракторным бригадам механика. Зовут его Тимофеем Андреевичем Мирошниченко, золотой человек. Меня любит, как своего сына. И работой моей доволен. Я тут уже разговаривал: если вы приедете, нам дадут отдельный дом. Кто женился здесь, на целине, им сразу дают. Так

что Витка наш скоро справит новоселье. Мне ужасно надоело жить в палатке. Вам тоже, думаю, не сладко в бараке. Так что соберитесь с духом и приезжайте. Жду вас. Крепко обнимаю, целую, ваш сын Ведут. Послали вам немного денег, получите — сообщите».

Осман-ага молча сложил листок, положил на стол. В это время в комнату с шумом ворвались дети, повисли на отце. Кямиле-апте выдворила их в соседнюю комнату, села рядом с мужем. Она ждала, что он скажет, какое примет решение. А Осман все молчал. Но вот он повернулся к ней:

— Покушать приготовила? Что разглядываешь меня, как индийского слона?!

Его, Османа, никогда не поймешь. Никогда не знаешь, где, когда и как себя поведет. Вот и сейчас, словно и не было никакого письма, ни денег, ни приглашения сына переехать к нему в Казахстан.

Кямиле-апте принесла и поставила перед мужем чашку вареной картошки и тарелку зеленых соленых помидоров. Осман-ага хотел что-то спросить, но Кямиле-апте проворно убежала на кухню. Обратно вошла с блюдцем килек пряного посола.

— Едва уберегла для тебя,— пояснила она, довольная собой.— Дети все подчистую подметают. Очень хорошо идет с картошечкой.

Рот Османа был чересчур полон, чтобы что-то ответить, поэтому он только кивнул удовлетворенно головой, хорошо, мол, молодец, и продолжал молотить крепкими челюстями. Жена поглядела, поглядела и не выдержала:

— Эй, акай. Куда так спешишь, за тобой ведь не гонятся.

— Если ешь, жена, так ешь, работаешь — так работай.

— Осман, я жду, что ты ответишь на письмо Ведута... А ты не знаю как...

— Ответа пусть ждет он,— с усилием проглотил и добавил:— Как соловей лета.

Кямиле-апте опять взвилась испуганно:

— Ешь, тебе говорят, поаккуратнее! Глотаешь — аж чуть глаза не выскакивают. Чует мое сердце, пока ты ему ответишь, наступит какая-нибудь высоким каблучком на хвост нашего Ведута, как то случилось с Виткой.

— Ну и что? — ответствовал на это Осман-ага. — Он что, хуже других?

— Знала я, с утра знала, как получила это письмо, что ничего путного от тебя не дождусь! Ты хоть представляешь, что будет, если какая фифа зааркачит нашего сына?

— Что будет, конец света? Земля провалится?

— Да разве сможет он после этого посылать тебе деньги?— Кямиле-апте помахала в воздухе бумажками.

— И пусть не посылает. Пусть сам зарабатывает и сам на себя тратит. Ему сейчас самое время пожить в свое удовольствие.

— Ох, какие вы мужики все-таки бестолковые, все из одного теста! Поглядите на него, полюбуйтесь, люди добрые: родному отцу все равно, наплевать, с кем спутается его сын, в какие руки он попадет!

— Не взывай к людям, нет тебе тут слушателей! С чего это ты взяла, что мой сын может с кем-со спутаться? Если он и найдет девушку, то достойную себя. Я в этом уверен. Хватит того, что я уже однажды подумал о нем плохо, теперь этого не будет. И тебе советую верить своим детям.

Осман-ага не зря сегодня прикидывался, злил жену: ему хотелось, чтобы она сама, своей волей изъявила желание переехать к сыну. Сам он для себя этот вопрос решил давным-давно. Еще зимой. Тогда же и заявление написал, что желает выехать на целину всем

семейством. Факт этот он скрыл от Кямиле, боялся, что она встретит его предложение в штыки. Письмо Ведута свалилось ему на голову неожиданным избавителем от тяжелого объяснения.

— Ладно, иди сюда, апай, — миролюбиво позвал Осман-ага жену. — Ишь, надулась, как индюшка. — Он вытер салфеткой рот, откинулся на спинку стула.— Если ты мать своих детей, то я их отец... верно?

Кямиле не ответила. На глаза ее навернулись слезы. Осман продолжал:

— Какой палец ни порежь — больно, верно я говорю? Ты думаешь, меня не волнует судьба Витки, Ведута, остальных наших детей? Волнует, еще как! Но мало просто волноваться за них, надо их поддерживать. Вот двое наших детей уехали в неведомые края, обрекли себя на испытания и лишения — ради чего ты думаешь? Ради славы, ради денег? Нет, вовсе нет. И они знают теперь, какова цена куска ржаного хлеба. И если мы с тобой настоящие родители своих детей, то не должны оставлять их без своей помощи, обязаны быть рядом с ними. Тянуть с ними вместе одну лямку. Я в свое время возил хлеб, вожу теперь камни, готов возить и впредь хлеб. Что может быть лучше этого! Так что давай, жена, не будем больше рассуждать: то да се... Готовь потихоньку детишек в дорогу, вещи собирай. Время подпирает.

Кямиле-апте молча выслушала длинную тираду мужа (ишь, как заговорил, ведь порою слова не вытянешь!).

— Ты глава семьи, тебе виднее,— сказала со вздохом. — А для меня где дети, семья, — там и хорошо. — Встала и принялась убирать посуду со стола.

III. ЛЮБОВЬЮ ДЫШИТ ДЖЕРГАИН

Пришла весна, которую с таким нетерпением ждали целинники. Сельхозмашины, всю зиму выглядев-

шие какими-то чудовищами без глаз, внутренностей, колес и гусениц, обрели пристойный вид, пройдя через заботливые и умелые руки ремонтников, вернулись к своим хозяевам. Днем и ночью бороздят они нынче совхозные поля, сотрясая воздух гулом моторов. Вся техника в степи, механизаторы живут на полевых станах.

Виктору, как и другим молодоженам, выделили дом. Машину он тоже получил новую, пятитонку. Курсирует между городом и совхозом. Если удается без проволочек получить груз на базе, в поселок возвращается вовремя, а значит, и отдохнуть успевает, как полагается. Простоит на базе (а так случается чаще всего),— в обратный путь приходится трогаться на ночь глядя. Дорога трудная, да если это еще зимой — так намотаешься, пока доедешь...

Зимы здесь жестокие. Выпадает много снега, который сохраняется очень долго, вплоть до поздней весны. Частенько дуют сильные ветры, которые образуют непроходимые ледяные сугробы. В таких местах машины застревают накрепко и их самих тоже по самую крышу заметает снегом. Тяжела шоферская доля на целине.

За зиму Виктор не раз ночевал в машине под снегом. Спасали таких, как он, обычно бульдозеры, выходящие поутру расчищать дороги. Тракторы на прицепе увозили обледенелые машины...

Но сейчас все кругом дышит весенним пьянящим воздухом. Снега стаяли, земля задышала, дороги подсохли. Виктору стало полегче. Редко они нынче видятся с Ведутом. Виктор вернулся из рейса — Ведут выехал в степь, Ведут приехал — Виктор уехал. В неделю встретятся раз — и то хорошо. Но отношения их по-прежнему и братские, и товарищеские. Оксана, жена Виктора, встречает Ведута очень радушно, обстирает, накормит, напоит, потом лишь отпустит.

В пятой бригаде работает табельщицей Люся. В ее

руках сосредоточена вся учетная работа бригады. Приезда Ведутовской «технички» она всегда ждет с нетерпением. Люся при случае старается угостить Ведута чем-нибудь вкусненьким, без обеда не отпустит. Тут уж, конечно, и Тимофей Андреевич не остается в стороне: и ему оказываются должные знаки внимания и уважения. Кому это не понравится?

Для старого мастера не секрет, что Люся-табельщица всячески старается обратить на себя внимание Ведута. Чаще, чем надо бы, вызывает «техничку», даже малейшую поломку возводит она в ранг ужаснейшей,— словом, как хотите, а в пятую приезжайте почаще. К счастью Люси, да и Ведута тоже, им попался мудрый, добрый человек. Он понимает Люсину душу, сочувствует, а Ведута любит как своего сына, уважает его за безотказность, частенько зазывает к себе в гости, интересуется его жизнью, настроением. Тимофею Андреевичу уже известно, что родители Ведута решились приехать к сыну. «Ты не беспокойся,— говорит он Ведуту. Ничего, на улице не останутся. На первое время могут поселиться у меня». Конечно, на улице не останутся, думает Ведут. Но все равно как-то страшновато. Семья у них ой-ей-ей, тринадцать человек, если не считать Витку. У кого поместишь такую ораву?!

Прикинув так и сяк, они с Андреевичем пришли к мысли, что без отдельного дома не обойтись. Старый механик принялся хлопотать. Сам он родился и вырос здесь, на Павлодарщине, так сказать, коренной целинник; женат тоже на местной степнячке, более двадцати лет работает механиком. Авторитетом у людей пользуется. Его любят механизаторы, уважает начальство. Требуется сложный ремонт, не удается пустить «упрямый» трактор — тут же зовут на помощь Тимоху. Так зовут его трактористы — Тимохой, даже если между ними разница в возрасте — как между отцом и сыном. Он не обижается. Знает, что зовут его так любя.

А мастер он в самом деле отменный, настоящий «железный врач». Обстукает своим молоточком мертвые части механизма, послушает чих и тарахтенье мотора, поднимет круглые очки в железной оправе на лоб и скажет: надо вскрывать там-то и там-то, надо менять то-то и то-то, — глядишь, через полчаса «мертвый» трактор задрожал, затарахтел весело, выбрасывая в небо голубые колечки дыма.

У Тимофея Андреевича не только руки, но и сердце золотое. Среди механизаторского люда, наверное, трудно найти такого мягкого, ровного человека. Его не увидишь обозленным, раздосадованным. Самое страшное его ругательство: «Вот холера!» В работе всякое случается. Матюкнется иной раз кто, пошлет кого куда подальше, а Тимоха глянет на сквернослова и отойдет от него, как от заразного.

Ведут радуется-не нарадуется, что повезло ему с напарником. Не раз с восторгом описывал отцу, с каким он человеком работает, тот знал теперь Тимоху, наверное, не хуже, чем своего соседа. Ведут верил: раз за дело взялся сам Тимофей Андреевич, значит, родителям по приезду в «Зерновое» будет где приткнуть голову.

...Сегодня на полевом стане пятой бригады опять ждут «техничку». Люся еще вчера вызвала их. Когда крытая зеленая машина подъехала к вагончику, дверца его распахнулась и по деревянной лестничке сбежала сияющая Люся. Здороваясь с Андреевичем за руку, девушка кинула быстрый взгляд на Ведута, зарделась.

— Ну, что у вас тут? — поинтересовался механик.

— Опять поломка. На восьмом участке. Со вчерашнего дня не работают. Наверно, все бока отлежали.

— Поехали,— кивнул Тимофей Андреевич Ведуту, который влез на капот и протирал переднее стекло кабины.

— Можно, я тоже с вами, Тимофей Андреевич?—

умоляюще сложила руки на груди Люся.— Я вам дорогу покажу...

Механик, ясное дело, получше этой пигалицы знает, куда ехать. Но как отказать Люсе!

— Во-во, я сам хотел просить. Садись в кабину, доченька.

Люся не заставила себя упрашивать, села в кабину рядом с Ведутом. Тронулись.

— Как дела, молчун?— поглядела Люся на Ведута, на его густые кудри, треплющиеся на ветру. Ей всегда остро хотелось взять и запустить в них обе руки.— Почему молчишь?

— А чего говорить? — хмыкнул Ведут, не отрывая взгляда от дороги.

— Ведь целую неделю не виделись, разве нет?— вспыхнула Люся.

— Не виделись,— обронил Ведут.— Ну и что?

Люся помолчала, глядя в окно. Сочные стебли пшеницы, уже выросшие по колено, колыхались под слабым ветерком — волна убегала за волной, напоминая рябь на поверхности моря. Только это море было не синее, а зеленое, цвета жизни.

Люся тяжело вздохнула. Красоту можно видеть и любоваться ею, если на душе у тебя светло, прозрачно и радостно, ну а коли на сердце одна горечь и боль? Ведь сколько она ждала этой встречи, так мечтала поскорее увидеть это лицо, притронуться к этим рукам, услышать этот голос, а для него ты пустое место, так себе, гаечный ключ или как у них там говорится... монтировка.

— Как там Оксана, Виктор? Что поделывают?

— Занимаются своими делами, что им еще делать?— усмехнулся Ведут.

— Я вас еще вчера вызвала. Здесь вы были нужнее всего.

— А нам везде так говорят. Тимофей Андреевич всегда всем нужен, — повторил опять свое Ведут.

Ах ты дурачок мой, ледышка зимняя-целинная, подумала Люся с отчаянием. Что верно — то верно, Андреевич-то твой всем нужен. Это и понятно. Но ты-то только мне нужен, как ты не поймешь этого, молчун несчастный?!

Люся отодвинулась на самый край сиденья, обиженно отвернулась.

— Да ты не бойся, приедем сейчас, дядя Тимоха вмиг устранит все неполадки. Сама знаешь, какие у него руки — золотые! В этих руках любая мертвая железка задышит-задвигается.

Железка может задышать-задвигаться, а вот ты сам оживешь ли, поймешь ли когда-нибудь, зачем я тут возле тебя, зачем я так часто вызываю вас в свою бригаду? Если бы не ты, молчун-ледышка, то я б давно перебралась в Катартал, где все мои землячки-подружки, куда они меня все время зовут. Опомнись, взгляни на меня: неужто я так уж недостойна твоей любви, твоего внимания? Так любят человека один-единственный раз в жизни, полюбит ли тебя еще раз кто с такой силой? И придет ли ко мне самой еще раз такая любовь? Не приведет ли твоя слепота к несчастью обоих? Ведь мы две половинки одного целого, и ты, самонадеянный глупый мальчишка, не замечаешь той половинки, без которой не быть тебе самим собою, не иметь полного счастья и жить навеки обделенным?!

— А вон и Джергаин!— воскликнул Ведут весело, не подозревая, какие горькие мысли тяготят сейчас голову Люси.— Скоро на восьмом твоем участке будет полный порядок, выше нос, дорогой товарищ!

«Восьмой участок», «дорогой товарищ». Люся хмуро посмотрела вперед. На фоне бледно-голубого неба, посреди необъятной степи, на весь горизонт протянулась синеватая под ярким солнцем гряда Джергаинской ро-

ши. Она возникла перед глазами неожиданно, словно из-под земли, будто мираж в пустыне, и как мираж звала жаждущего путника, манила к себе, обещая утоление, прохладу и спасение.

Ведут поднажал на газ — роща росла, увеличивалась на глазах — будто сама неслась, спешила навстречу машине.

— Остановишь вон у того бугорка, видишь справа? Там колея автомобильная,— сказала тусклым голосом Люся.

— Знаем, сами ученые, — показал все тридцать два зуба Ведут.— Восьмой участок. Третий раз приезжаем сюда за этот месяц.

Остановив машину, Ведут соскочил из кабины и влез в кузов помогать Тимофею Андреевичу собрать необходимый «докторский инструмент». На сей раз ноша оказалась не очень тяжелой, и потому старый мастер от помощи Ведута отказался. «Нет, нет, спасибо, я сам донесу. Ты отдохни», и направился, взвалив деревянный ящик на плечо, к стоявшему посреди степи трактору. Молодые какое-то время молча смотрели ему вслед. Люся просительно повернулась к Ведуту.

— Пойдем погуляем в роще?

— Роща — не проспект и даже не парк культуры и отдыха,— усмехнулся парень, возвращаясь к своей машине.

— Как знаешь. Ты, видно, привык, как стиляги, только по «Бродвеям» шататься.— Девушка понуро побрела одна в сторону рощи. Потом припустилась бегом, точно за нею гнались. Еще миг, еще немного пробежит и исчезнет из глаз долой...

Ведуту вдруг стало не по себе. Он поспешно бросил ветошь, которой собрался было протереть стекла, и опрометью кинулся за Люсей, словно испугался, что стоит упустить из виду, как потеряет ее навсегда.

Девушку он нагнал у самой рощи. Земля, не заня-

тая хлебами, была покрыта яркой зеленью, полевыми цветами. Стайки птиц, еще не поверивших в приход весны, перелетают с дерева на дерево, галдят, словно проверяя голос перед большим концертом. Запахи земли, свежих трав и солнце кружат голову, пьянят кровь...

Люся выбежала на солнечную поляну, упала на густую зеленую траву, потом повернулась на спину, подставляя лицо теплому ласковому солнцу.

— Простынешь, земля холодная,— сказал Ведут и кинул девушке ватную фуфайку. — На, подстели.

Ноги Люси упругие, белые. Еще Ведут успел заметить ее высокую грудь под шерстяной кофточкой, как два яблока кандиль... Какая-то сладостная боль пронзила Ведута, там, слева, где, говорят, должно находиться сердце.

— А я не боюсь,— сказала Люся, не открывая глаза. На губах ее блуждала какая-то таинственная улыбка. — Не боюсь ничего, — повторила она с вызовом. — Ни холода, ни жары. Я закаленная...

— Прохватит, тогда увидишь. Ишь, закаленная!— обронил Ведут, с трудом сглотнул комок, застрявший в горле, потом по-мальчишески быстро подобрал с земли голыш, пронзительно гикнул и метнул его в стаю галдящих на дереве птиц. Стая испуганно бросилась врассыпную. В роще наступила тишина. Люся по-прежнему лежала с закрытыми глазами. На длинных сомкнутых ресницах ее дрожали две прозрачных капли...

IV. ЦЕЛИННЫЙ КРАЙ

Встречать родителей Виктор и Ведут поехали на двух машинах. Поначалу они вознамерились ехать на одном грузовике, на пятитонке Виктора. «Я писал им, чтоб много барахла не брали»,— говорил Ведут, но Тимофей Андреевич настоял, чтобы поехали на двух ма-

лишах. «Мало ли что ты писал? Ты молодой еще, не знаешь, что это такое — переезжать с места на место всей семьей. То нужно, это нужно, без того не обойтись в хозяйстве, без этого — глядишь, целый воз вещей — самых необходимых! — набралось. Так что поезжайте, милки, на восьми колесах. Как говорится, запас карман не тянет».

Поехали — и не прогадали. Верно, Осман-ага и вправду приехал с небольшим грузом и все было упаковано, связано и завернуто так аккуратно, что заняло-то всего лишь полгрузовика. Место, конечно, потребовалось ораве братьев и сестер, но они могли ехать на чем и где угодно, хоть на крыше кабины, и не охнуть. Тем не менее прав оказался старый механик. Осман-ага Муратов привез с собой еще две семьи. И сообщил, горделиво расправляя плечи, что следом на днях прибудут еще и другие: Абляким с семьей, Фарик, Сеит, братья Вефа и Куртасан. «Всех сам уговорил — завербовал, так сказать. Ждите пополнения. Или сыты уже людьми? Читал в газетах, что едут к вам новоселы, все едут со всех концов страны!» — с любовью оглядел отец двух старших сыновей, подтянутых, загорелых, возмужавших. Ребята грузили вещи на машины. Кямиле-апте сидела в кабине. Нет-нет да вытирала она глаза длинным рукавом платья: слава аллаху, встретились живыми-здоровыми, каково же будет им на новом месте? Сыновья, тьфу-тьфу, не сглазить, выглядят хорошо, гладенькие, веселые, значит, и вправду дела у них идут неплохо. Да будь плохо, разве так встречали бы родителей? На двух машинах приехали. И самое главное, конечно, — тут же, после первых объятий, ахов-охов отцу ключи от нового дома, что совхоз предоставил, вручили. Тот просто слов не нашел и, чтобы слезы скрыть, опять принялся обнимать сыновей. Давненько не видела Кямиле-апте своего Османа таким взвол-

нованным и счастливым. Дай-то бог чтоб и дальше было все так же хорошо и счастливо...

— Есть еще много колеблющихся,— продолжал между тем отец,— ну, таких, которые привыкли на рожон не лезть, действовать с оглядочкой. Просили осмотреться, приглядеться и черкнуть пару строк, стоит ехать или не стоит.

— Стоит, отец, стоит!— воскликнул Виктор.— Отовсюду едут люди. И во как они нужны, позарез!

— Вижу, что стоит,— улыбнулся Осман-ага и посмотрел на ключи, которые все еще сжимал в кулаке,— Так и напишу им.

— Дом хороший, отец, четыре комнаты,— вставил Ведут.— Правда, на отшибе стоит, на окраине поселка. Да ведь стройка продолжается, скоро она далеко обгонит наш дом. Нужно будет, еще несколько комнат пристроим, дело нехитрое. Кстати, на одной улице с нами живет и Тимофей Андреевич.

— Ведут наш, бедненький, наконец-то распрощается с постылой палаткой, — засмеялся Виктор. — Сколько ни просил пока переехать ко мне, говорил, что места предостаточно, все отказывался. Зачем, мол, я уж лучше сразу в свой дом въеду, в родительский, вместе со всей семьей.

— И правильно делал. Испытал, что такое бездомная жизнь — отцовский кров больше ценить будет.— Осман-ага заметил, что уже загрузили обе машины.— Все, кажется, сынки, поехали. Завтра на работу.

Виктор и Ведут непонимающе переглянулись, решили, что отец имеет в виду их самих. Но не тут-то было, оказывается.

В поселок приехали поздно, но на заре Осман-ага был уже на ногах, разбудил сыновей.

— Ну, пора. Ведите-ка меня к начальству, показывайте, где что. Я сюда не спать приехал.

— Так хоть бы вещи разобрали, отдохнули с дороги день-два. Это ваше законное право.

— Вещи никуда не денутся. Что касается отдыха, то в поезде двое суток наотдыхался, все бока отлежал.

И вышел Осман-ага на работу на второй день, как ступил на землю целинную...

Отец в середине, сыновья по бокам, шли они широким размашистым шагом по утренней поселковой улице.

— Ассаламу-алейкум,— говорили встречные казахи, здороваясь с Муратовыми за руку. Отвечая на приветствие, сыновья говорили, указывая на Османа-ага:

— Наш отец. Глава рода. Теперь будет с нами.

— Хош гелдингиз,— пожимали ему руку хозяева.— Добро пожаловать. Рады видеть вас на земле наших отцов.

— Привет, Муратовы! По лицам вижу, поприбавилось вас за ночь!— останавливались другие.

— Угадал. Это отец наш. Осман-ага. Прошу любить и жаловать.

— Э-эй, Осман, здорово! Какими ветрами тебя сюда занесло? Жив-здоров, значит?

— Иван, ты? Черт живучий, а говорили, что тебя убили под Сталинградом!

— Не на того нарвались!

— А это мои сыновья, Иван, познакомься, коли не знаешь.

— Знаю я их, акай, отличные ребята, под стать тебе самому. Все хотел спросить их, случаем не родственники ли тебе, видишь, даже больше, оказывается... Сегодня ты мой гость, Осман, договорились?

— Нет, спасибо, Иван. Какой же я гость — я твой односельчанин с этого вот часа. На работу иду, не видишь разве? А посидеть мы с тобой еще посидим, не отвертишься.

— Яхшы, акай, яхшы. Буду ждать этого дня.

Им часто приходилось сторониться: мимо со свистом

проносились новенькие самосвалы, похожие на быстроногих жучков «ДТ» с прицепами...

— Я тебе, отец, машину подобрал,— доложил молчавший до сих пор Ведут.— Трехтонку. Совсем новенькая. А опыта, сноровки тебе не занимать. Пооглядишься, приноровишься — лучше тебя здесь не будет шофера.

— Учиться никогда не поздно, дети мои, я вам это всегда твердил. Не то еще одолевали..

Когда подошли к конторе отделения, было семь часов. Несмотря на раннее время, основная часть рабочих и механизаторов уже получили указания и разъехались по местам.

Разговор начальства с Османом-ага получился недолгим. Показали ему машину, спросили, по каким маршрутам ему хотелось бы ездить.

— По всяким,— ответил Осман-ага.— Чем больше дорог и людей я увижу, тем быстрее пойму местные условия, тем быстрее стану на этой земле своим человеком. Я приехал работать и жить, как свой на своем месте.

И выехал часов около девяти Осман-ага в свой первый самостоятельный целинный рейс.

— Да-а, крепкий мужик. Побольше бы таких в наших хозяйствах,— сказал завгар, когда машина Османа-ага исчезла за поворотом.

Вот перед тобой дорога. Гладкая, блестит, как зеркало. Въехал в такое место и — погряз по брюхо. Ни вперед, ни назад. А если раскачивать машину, она будет садиться все больше и больше. Это солончак, каверзная штука. Но Осман скоро раскусил все особенности здешних дорог и ни разу не застрял в пути (ему помогли в этом его умение сходиться с людьми, безотказность и любознательность). А тому, кто ездит безаварийно, экономит горючее — совхоз платил премию. Осман-ага в первый же месяц получил ползарплаты

премии. А что, это совсем недурно, сказал он себе. Так жить можно.

А вечером, за ужином, оглядел детей, облепивших стол, на котором лежали три больших каравая свеженспеченного хлеба, и сказал:

— Видите, дети, мы живем в хлебном краю. Отныне наше дело — растить хлеб. А вы сыты, учитесь хорошо. Придет время — мальчики возьмут в руки технику. Девочки станут докторами, годится?

Дети зашумели, загалдели, решая, кто кем будет. Но Нусрет помрачнел, мял в руках край скатерти. Он закончил десятый класс и переживаний у него хватало. Во-первых, трудно было расставаться со своей школой, с товарищами. Во-вторых... Отец знал, что мучает сына.

— Ты, сынок, много не переживай,— сказал он тихо.— Под носом шоферские курсы, поступи и учись на здоровье. За полгода отцовское ремесло получишь в руки.

— Я не хочу в шоферы,— отрезал Нусрет.

— А что, разве плохая профессия? Я двадцать пять лет крутил баранку. И на фронте, и в мирное время. Всю жизнь на колесах, и представь себе, доволен.

— Папа, я считаю, уметь водить машину — это не профессия. Времена меняются, как ты сам любишь говорить. Когда-то на весь район был один шофер и он был всем в диковинку. А теперь посмотри, сколько их вокруг? В одном нашем доме трое. Придет день — каждый будет уметь крутить баранку, у каждого будет машина. И сядут за руль и мужчины, и женщины. Даже школьники.

— Нусрет прав,— вмешалась в разговор Кямилеанте, беря сторону сына.— Достаточно приносите грязи в дом и вы, отец с Ведутом. Нусрет пусть идет в инженеры. Станет вроде нашего Тимофея Андреевича, «железным доктором».

— Тимофей Андреевич не инженер,— буркнул Нусрет, не подымая головы.

— Всем бы инженерам такими быть, как Тимоха,— обиделся за друга Осман-ага.

— В этом году у нас открывается двухгодичная школа механизаторов,— сказал Ведут, желая прекратить спор, который мог перерасти в ссору, и посмотрел в глаза брату.— Отнеси заявление, пока не поздно. Хорошо закончишь — и профессию получишь широкого профиля, и в институт будет легче попасть. Это будет твоей первой ступенькой в институт, к инженерству, милому твоему сердцу.

Нусрет любил брата и во всем слушался его. Так случилось и сейчас. Он посветлел лицом и взял в руку ложку. Совет брата показался ему дельным.

Осман-ага и Виктор вывозили зерно с первого, Катарталского отделения совхоза «Зерновое». За короткий срок все мало-мальски пригодные под хранение зерна помещения и тока всех трех отделений были переполнены. По счастью, погода стояла хорошая; люди вовсю старались, чтобы убрать хлеб до первых дождей. Не уберут — ни за грош пропадет результат напряженнейшего труда целого года.

Осман-ага ехал в длинном ряду хлебного каравана. Колонна шла быстро, с ветерком, но Осману-ага казалось, что двигаются они черепашьими шагами. Два рейса в сутки... Куда это годится? Эх, если бы мог, разделился надвое и сел бы за руль двух машин! А что?.. Погоди, погоди, тут что-то есть...

На другой день Осман-ага выехал на элеватор с прицепом, повез груз двух автомобилей. Его примеру последовали другие опытные водители. А Осман-ага подумал-подумал, посоветовался с Тимофеем Андрееви-

чем, прикинул мощность мотора, тягу машины и... взял еще один прицеп. Потом еще один. Завидя его машину, рабочие совхоза стали говорить «Вот Османов поезд идет». В самом деле, Осман возил теперь на элеватор груз целого поезда — около сорока тонн зерна. Не все, кто пытался последовать примеру Муратова, справились с такими «поездами». Удовлетворились одним, двумя прицепами.

К совхозному зернохранилищу протянулась длинная вереница автомобилей, груженных пшеницей. К самому концу подъехал Осман-ага, остановил машину, вышел из кабины, играя ключом, надетым на палец.

— Ну и сколько, говорят, нам здесь стоять?

Несколько водителей, столпившихся под тенью хилого карагача, с усмешкой взглянули на него.

— Можешь, батя, сходить пообедать,— сказал один.

— Поспать часок-другой,— вставил второй.

— Ну, ты!— толкнул его в плечо Осма-ага.— Болтай да не забалтывайся. Ишь какой остряк нашелся, сопляк. Тут волком выть хочется, комбайны зерно прямо на землю высыпают, а они шутки шуткуют.

Шофера, чересчур уж вольготно чувствовавшие себя под карагачем, подтянулись.

— Почему, говорю, задержка? — повторил Осман-ага.

— А ты иди, у приемщика спроси. Во-он он сидит, жена как раз обед принесла, рубает. Говорит, у меня заслуженный перерыв, как у всех советских людей, ждите.

Осман-ага высмотрел, где сидит этот «заслуженный» приемщик, молча направился к нему. Шофера с интересом глядели ему вслед. Чудак какой-то новый объявился. Поди, послушается его этот приемщик, как же! Пошлет куда подальше...

Приемщик, круглолицый мужчина, расположившись у арыка, не спеша поглощал обед — лапшу километровой длины, причмокивал и пристанывал от удовольст-

вия. Рядом стоял большущий фарфоровый чайник, прикрытый тряпкой.

— Вкусная лапша?— спросил Осман-ага, подойдя к приемщику вплотную.— Почем метр?

— Чего?— не понял приемщик, поглядел пустым взглядом.— Тебе чего надо?

— А того!— сказал Муратов, нагнулся и выхватил чашку с лагманом из-под самого носа приемщика.

— Ты кто, уголовник?— Приемщик с разбега хотел въехать в лицо Османа, но тот легко увернулся от его кулака, подавшись вбок, схватил руку нападающего на лету и слегка вывернул ее (при этом из чаши, которую он держал в левой руке на весу, не выплеснулось ни капельки жидкости).— Советую, сынок, не особо рыпаться: я фронтовик. Иди, становись за весы, если не хочешь осложнений. Потом пожрешь свои макароны. У нас тоже с утра во рту маковой росинки не было. Имей совесть.

— А я тут при чем?— заорал приемщик, на всякий случай отступив на несколько шагов.— Я один, а вас, погляди, сотни! Ни дня, ни ночи — принимай урожай: земля в этом году родила тройню! Земля-то родила тройню, честь и хвала ей, но я-то один. Один! Две руки, две ноги, одна голова. Что вы думаете, я дармоед какой? Я уже трое суток не сплю, понимать надо.

Осман-ага опустил чашу на землю, взял приемщика за руку, крепко пожал.

— Я, сынок, тебе в отцы гожусь. Если я неправ, ударь меня — не пикну, не обижусь. Верю, что тебе трудно, но подумай — хлеб гибнет, мубарек*, а на это я не могу глядеть спокойно. Понимаешь? Я в Германии видел людей, которые куска хлеба не видели неделями, мы их выносили из бараков на своих руках — они не

---

* Мубарек — святыня.

могли ходить... Да и теперь мало ли еще в мире нуждающихся...

— Ладно, отец, я сам все это прекрасно знаю. Но склад у меня тоже не бездонный. Скоро будет до самой завязки. Надо было раньше думать, куда будем девать урожай.

— Кто знал, что такой урожай уродится? Земля-то молодая, неведанная.

— Идите, подгоняйте свою машину.

— Спасибо. Я не для себя старался. Я и подождать могу, подъеду, когда очередь дойдет. Я старался ради хлеба, который у всех у нас в кузовах. Еще раз прости меня. После страды приходи, я тебя угощу праздничным обедом. А сейчас — давай за дело.

Возил зерно на своей «технчке» и Ведут: Тимофей Андреевич освободил фургон от своих железок. Ведут загружал свой фургон по самую крышу. Выходит, у него тоже был свой пусть маленький, но поезд.

С утра было солнечно и тепло. К полудню небо заволокло низкими лохматыми тучами, подул резкий ветер. Ведут с Виктором возвращались домой. Остановились на перепутье: одна дорога уходила в степь, другая — в поселок. Посовещались, поглядывая на хмурое небо: сделать еще рейс или нет?

— Я думаю, дождя не будет,— сказал Виктор, послюнявив палец и подержав его над головой.— Такой ветер какие хошь тучи разгонит. Поехали, брат.

— Может, загрузимся, заедем домой? Если грозу пронесет — поедем спокойненько?

— Ты что, трусишь?— по-мальчишески вскинулся Виктор.— Тогда я один поеду.

Ведут ничего не ответил, сел в кабину, развернул свой фургон и погнал его в быстро темнеющую степь. Виктор тронулся следом.

Между тем ветер, который по предположению Виктора, должен был разогнать грозовые тучи, все набирал силу. Он не только не оправдал прогноз Витки, наоборот, пригнал откуда-то со стороны еще больше туч. Они неслись по небу, чуть ли не касаясь земли.

Гроза разразилась, когда машины были уже загружены. Загрохотал гром, яркие вспышки молний озаряли вмиг потемневшую степь, ливень хлестал сплошной стеной. Ведут, он ехал впереди, включил фары, пустил «дворники» и вовсю нажимал на акселератор — хотел проскочить проселочную дорогу, пока она не раскисла. Фургон, загруженный доверху, чаще заносило в стороны, чем «газик» Виктора, на поворотах он был менее устойчив. Виктор шел, не отставая от Ведута. Он уже жалел, что поступил необдуманно, решив сделать еще рейс невзирая на непогоду.

Гроза не унималась, наоборот, все набирала силу. Дорога быстро раскисла, колеса уже наполовину погружались в густую белую от соли жижу, разбрызгивали ее во все стороны. Ведут остановил машину. Впереди лежала низина, подозрительно ровно залитая водой. Солончаковое болото, решил Ведут. В него лучше не соваться. Придется, видно, ночевать здесь. Веселого мало.

Подъехал Виктор.

— Чего встал?— высунулся он из кабины.

— Боюсь, соленое болото,— поморщился Ведут, пожав плечами.

— А мы объедем!

Ведут ничего не успел сказать — Виктор тронул машину, все забирая влево. Через минуту газик завыл, как раненый зверь, воткнулся носом в грязь, накренившись направо. Виктор поддал газу, машина затряслась, завыла, словно плача, из-под колес ее забили фонтаны грязи.

— Ты чего делаешь, не газуй!— заорал Ведут, по

ояс высовываясь из кабины. Виктор его не услышал. Мотор газика все еще остервенело выл на самой высокой ноте.

Ведут выскочил из кабины и, по колени увязая в грязи, пошел к застрявшей машине. Виктор, видно, понял тщетность своих усилий, тоже соскочил. Увидев, как золотистое зерно струйками течет из-за наклоненного борта в грязь, схватился за голову. Затем глянул на колеса, почти целиком погруженные в трясину и крепко выругался.

— Намертво сел. Придется ночевать в степи.

Ведут оставил при себе упреки, вертевшиеся на языке: Витка всегда был горяч, опрометчив, и зная это его качество, нечего было идти у него на поводу. Увязался за ним вместо того, чтобы отговорить. Теперь застряли — значит, и он сам виноват не меньше брата, если не больше. Ох, узнает отец, даст нагоняй обоим. И больше влетит ему, Ведуту.

— Может, возьму тебя на буксир, вытяну?

— Ты очумел, что ли?— разозлился Виктор.— Семь тонн у меня в кузове, понимаешь.

— Может, расстелим брезент, высыпем зерно?

— Замочим пшеницу — впору кашу варить будет. А во-вторых, что ж я, вернусь на Катартал, гремя на борту пустым ведром?! Айда ночевать, деваться некуда!

Они вернулись к машине Ведута, забрались в кабину. Одежда была мокрая насквозь. Сколько ни жались друг к другу, не могли согреться — озноб пробирал до костей.

Гроза миновала. Небо заметно посветлело, гром гремел где-то вдали.

Ведут включил мотор в надежде прогреть немного кабину. Виктор открыл глаза, коротко глянул на него, ухмыльнулся.

— Замерз? Вот бы Люсю сейчас тебе под бочок, а? Вмиг бы разогрела.

— Не болтай глупости,— буркнул Ведут, но ему сейчас было приятно вспомнить Люсю, ее ладненькую фигуру, грудной хрипловатый голос, большие карие глаза, горячие руки.— Если я засну, не забудь выключить мотор, а то чего доброго, угорим еще.

Виктор ничего не ответил. Ведут поглядел на него, устроился поудобнее, закрыл глаза.

Мерно работал мотор, нагоняя в кабину теплые струи воздуха. Падали редкие капли дождя, создавая какое-то колдовское шуршание вокруг... Ведут закрыл глаза и увидел сон...

Мчится машина Ведута по степи, покрытой зеленым бархатным ковром. Впереди синеет березовая рощица, в которой некогда весной гуляли они с Люсей. Ведут гонит свой фургон к этой роще, гонит и гонит, и все никак не может достичь ее. Роща словно убегает от него прочь, уходит вдаль, а колеса машины крутятся на месте, выбрасывая назад струи жидкой грязи. Вдруг перед самым буфером возникла фигура человека, с головой укрытого черной накидкой. Ведут резко крутанул руль влево — напрасно, человек опять оказался перед ним, взял вправо — то же самое. Весь дрожа, Ведут нажал на тормоза, выскочил из кабины, бросился к человеку. Он был готов растерзать его за такие штучки, подбежал, протянул руку, чтобы сдернуть с человека накидку. Но черное покрывало само, как-то странно легко и медленно, как в кино при замедленной съемке, упало на землю, к ногам человека... Перед взором Ведута предстала... Люся, нагая, с распущенными волосами. На длинных ресницах ее блестели слезы, а сама она смеялась громко-громко, прямо-таки захлебывалась смехом, и смех ее эхом отдавался над березовой рощей, над зеленой степью...

— Это что за бесстыдство такое?— возмутился Ведут, подбирая с земли накидку.

— Это ты бесстыдник, понятно? — крикнула Люся,

шагнув к нему с простертыми руками.— Сегодня мне исполнилось двадцать лет. А ты хоть бы ниточку подарил мне, видишь я совсем раздетая!..

— А я и вез тебе подарок. Вон, в кабине лежит. Специально в город гонял...

Ведут передал девушке большой сверток. Люся взяла подарок и, так же звонко смеясь, растворилась в роще. Прошло немного времени. Из-за белых березок поднялось большое красное солнце. Зеленый ковер степи покрылся яркими полевыми цветами. Откуда-то донесся голос Люси.

— Ведут, я здесь!

Ведут кинулся на голос. Но тот раздавался уже откуда-то с другой стороны.

— Ведут, я здесь.

Потом голос Люси зазвенел отовсюду, со всех концов рощи, степи, с неба:

— Ведут, я здесь!

— Ведут, я здесь!!

Вконец растерянный юноша закрыл лицо руками, упал на колени. И тут Люся опять появилась перед ним. Опять закутанная с головой в давешнюю черную накидку.

— Я не хочу видеть тебя такой!— закричал Ведут.

Не успел он произнести эти слова, как Люся широким жестом отшвырнула черную накидку в сторону и предстала перед юношей в белом платье до пят, в белых туфлях, белый прозрачный шарф на ее голове колыхался от ветра, трепетал, как крыло большой белой птицы...

Они обнялись и сели на зеленую мягкую траву. Кругом цвели полевые цветы, пели птицы, солнце купало их в своих теплых ласковых лучах...

— Нравится тебе подарок?— спросил Ведут, заглядывая в глаза девушки.

— Спасибо, милый. Я давно мечтала о таком,— от-

ветила она и потянулась к нему. Ведут простер руки для объятия...

— Ты что все ерзаешь да ерзаешь?— раздался вдруг грубый голос под самым ухом. Ведут открыл глаза и увидел Виктора с недовольным заспанным лицом.

— Ах, это ты...— протянул разочарованно.

— А ты думал кто?— хохотнул Виктор,— Давай, гони приятные сны и дуй в Катартал. Никто не выдернет меня из этой трясины, кроме батюшки ЧТЗ.

V. ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

Наступила осень. Совхоз «Зерновое» сдал государству хлеба вдвое больше, чем рассчитывали. Невиданный урожай изумил всех, даже ярых энтузиастов целины. Осман и до войны, и после войны не видывал такого изобилия. В новом доме у него была длинная просторная передняя. Осман-ага перегородил ее надвое и крайнюю половину до потолка набил зерном. В свободное время вместе с Ведутом соорудили за домом погреб. Кямиле-апте засолила овощей. В одной бочке помидоры с болгарским перцем, в другой — капуста. Муратовы бережливы и запасливы, но не жадны. Они знают: зима любит предусмотрительных. В семье много ртов, громаднейшего казана супа и трех буханок хлеба на раз хватает. Так что погреб не для роскоши — по необходимости. Заработок Ведута тоже идет в общий котел. Пытается подсобить им и Виктор, но Осман-ага отказывается от его помощи,— у него семья, в хозяйстве то нужно, другое, скоро вон и ребеночек будет — знай только таскай.

Совхоз зябь поднял, озимые засеял, шла заготовка кормов. Механизаторы сгоняли технику в центральную ремонтную мастерскую «Зернового», белоснежная зима обещала им более или менее спокойную жизнь возле семейного очага, детишек, которых, бывало, они не видели месяцами.

Осенние дожди принесли много грязи. Новая улица, заселенная целинниками, стала почти непроходимой. Ни пройти, ни проехать. Спасают положение арбы с высокими колесами и гусеничные тракторы. Они возят со степи сено, дрова и уголь со станции. По мере наступления холодов почва затвердела, люди повеселели — пережили и эту неприятность. На одном из общих собраний совхозов порешили летом засыпать дороги гравием и постепенно заасфальтировать.

Ждали снегов. Боялись за судьбу озимых: ударят крепкие морозы по голой земле — погубят будущий урожай. Семена должны лежать в земле под толстым слоем снега, тогда им сам черт не страшен.

По счастью снег не заставил себя долго ждать. Не успели облететь желтые листья на верхушках березок Джергаина, посыпала мелкая крупа. Постепенно она перешла в крупные, пушистые хлопья. К утру необъятная ширь степей Павлодарщины была укутана в белую пушистую шубу. Люди ходили веселые, довольные, словно дождались праздника. Да так оно, по существу, и было. Зима — венец года.

Оксана родила сына. Первый новорожденный среди первоцелинников, «первая ласточка», как говорили о нем, смеясь, рабочие совхоза. Виктор решил отметить рождение сына. Позвал друзей и родных. Осман-ага привел с собой друзей, которые прибыли сюда вскоре после него: Аблякима, Фарика, Сента, братьев Вефу и Куртасана. Пришли подруги Оксаны, все как одна ладные воронежские девчата, хохотуньи и плясуньи. Вечер удался на славу.

Первый тост подняли по предложению Тимофея Андреевича за счастье молодой семьи, давшей естественный прирост, как он выразился, числу целинников. Зазвенели бокалы, поднялся смех, посыпались шутки, завели патефон. Молодые повскакали танцевать. Потом пили за новорожденного, за его родителей. Девчата за-

тянули песню, к ним присоединились все остальные гости: получился мощный, хотя, правда, не очень стройный хор. Тимофей Андреевич раскраснелся, был не в меру оживлен. А Осман-ага не мог усидеть на месте, пересел к Оксане, хотел, видно, посекретничать, да ничего из этого не вышло.

— Ты не знаешь, Оксана,— начал было он, нагнувшись к самому уху молодой мамы, — Виктор был во-от такой белоголовый мальчишка, когда он...

— Знаю, Осман-ага,— прижалась горячей щекой к его щеке Оксана,— все знаю. Витка мне рассказывал. Все-все. Спасибо вам за Виктора. Без вас у меня не было бы сына, мужа, этой семьи...

— Зачем тогда называешь меня «ага?»— разобиделся Осман-акай. Я теперь и тебе отец, и внуку твоему дед. Давай выпьем за твое здоровье, сношенька.

— Нет, за ваше... отец!— подняла свою рюмку Оксана, вскочила на ноги, постучала вилкой о пустую бутылку.— Друзья, я предлагаю выпить за здоровье передового рабочего нашего совхоза, главу семьи механизаторов, отца моего мужа, дедушку нашего сына!

Все дружно подняли бокалы. Оксана пригубила легкое вино, отставила рюмку. Осман-ага был доволен безмерно.

Люся Веденеева, что сидела между Ведутом и Нуретом, вдруг отчаянно взмахнула рукой и запела, перекрывая чистым высоким голосом шум застолья:

Ти ж мене пидманула,
Ти ж мене пидвела,
Ти ж мене молодого
З ума разуму звела...

Все дружно подхватили песню. Даже Тимофей Андреевич активно зашевелил губами. Осман-ага все подергивал плечами, еще чуть-чуть и пустится в пляс.

Эх, «Хайтарму» бы сейчас, родимую матушку-плясовую, да так, чтоб пыль стелилась из-под каблуков!

Абляким Беспалый прихватил на вечеринку аккордеон сына, и пока что инструмент лежал в уголочке, прикрытый тряпочкой, в бездействии. Почувствовав состояние новоиспеченного дедушки, он отсел от стола, вдел плечо в ремень аккордеона и, дождавшись конца «пидманутого жениха», бойко рванул меха... Все примолкли, вслушиваясь в музыку, Осман-ага уже было привстал, но тут вышел конфуз. Абляким весь вспотел, раскраснелся, отчаянно перебирал клавиши всеми четырьмя пальцами — и все одно и то же:

Чиппийим, чиппийим де,
Кель, козюнъден опейим*.

Спас своего незадачливого друга-музыканта бойкий Куртасан. Он выбежал на кухню, взял крышку от кастрюли и заиграл на ней, как на бубне. Сам же во все горло подпевал себе. Люся Веденеева послушала малость самородка, отобрала у Беспалого инструмент и завторила Куртасану. Получилось. Да еще как!

Вслед за Османом все пустились в пляс. Никого не оставалось за столом. «Хайтарму» пришлось повторить несколько раз.

После пляски Осман-ага и Тимофей Андреевич заторопились домой. Молодежь осталась продолжать веселье.

— Ничего, нам с тобой еще гулять и гулять на свадьбах да днях рождения,— сказал Тимофей Андреевич, бережно держа за локоть Османа.

— Бог даст, Тимоха, если не помрем — погуляем!— согласился Осман.

— Эка загнул!— восхитился Тимофей Андреевич.—

---

* Цыпленок мой, цыпленок,
Подойди, поцелую тебя в глаза.

До могилы ты свадьбы правнуков отгуляешь, старый. А я говорю про свадьбу ближайшую — Ведутову.

— Чего?— остановился Осман-ага и приблизил лицо к лицу Андреевича, словно для того, чтобы удостовериться, не смеется ли тот.— Про свадьбу Ведута? Ты очумел что ли? У него ведь молоко на губах еще не обсохло. Кто за него такого пойдет, мокроуса?!

— Зря так говоришь,— обиделся Тимофей Андреевич.— А нам с тобой сколько было, когда женились? Небось поменьше еще. Ведут парень уже вполне самостоятельный. Вот Виктор ваш. Он вроде постарше Ведута, а дров может наломать — ой-ей-ей! Человек настроения. А Ведут, нет, не такой, он прежде обмозгует, взвесит все «за» и «против», потом только примет решение.

— А ты думал,— выпятил грудь колесом Осман-ага.— Моя кровь! Ты думаешь, я детей своих халам-балам воспитываю? На своем собственном примере!

— Вот и постарайся для них. Тебе пора отделять Ведута.

— А я как это сделаю?— приостановил свои несколько зигзагообразные шаги Осман-ага.— А зачем отделять?

— А затем... Ты видел, как сегодня льнула к твоему Ведуту Люся Веденеева?

— Это Люська-то? Хорошая девка! — причмокнул губами Осман-ага.

— Это скоро поймет и твой «мокроус».

— Тебе так кажется?— Хмель у Османа-ага точно рукой сняло.— Ты так думаешь, Тимоха?

— Не думаю — знаю. Проси у начальства участок, пока они есть поблизости от твоего дома. Тебе не откажут. Вон как отличился в страду. Да Ведут и сам заслужил. О материалах начнем заботиться теперь же. Весною и зачнем стройку. Месяц-другой, глядишь, и дом готов. Всем миром поможем. Вот хоть бы твои зем-

ляки. Живут, как дети одной матери. Трудяги, каких поискать. Вот Абляким все мечтает в комбайнеры податься, а на курсы не может поступить — грамоты нет. Так он ночами в поле ходит, учится у ребят водить. Хороший мужик, совестливый. Как-то пошел к нему, думаю, авось чем-нибудь помогу. Прихожу, вижу: Абляким долбит мерзлую землю ломом. Что он, думаю, делает? А он, оказывается, куски мерзлой земли домой таскает, разогревает в ведре на печке, глину готовит. А жена ею стены штукатурит, представляешь? Домик-то щитовой, щелястый, так я соседей сколотил, чтоб ускорить... Поди-ка сейчас к нему в дом, погляди: дворец, да и только! А для Ведута я купил телочку. Подарю на свадьбу.

— Спасибо, Андреич. Я знал о твоей доброй душе еще задолго до того, как тебя самого увидел. Ведут же и писал. Но про Люсю не знал я ничего, не подозревал даже. Вот мать-то взбунтуется!..

— Ну, с этим делом надо быть поосторожнее. Не надо спешить объявлять Кямиле, мало ли что... Но понаблюдать за молодыми, как у них дела-то идут, надо.

— И то правда,— согласился Осман-ага, пытаясь взбодриться. Но прежнего настроения уже не было.

Они какое-то время стояли у калитки Тимофея Андреевича, балакая о том о сем. Злой ветер, налетавший со степи, колотил их по ушам мелким колючим снегом, словно торопя разойтись. Осман-ага поднял воротник пальто, но наушников опускать не стал. Тимофей Андреевич поглядел на вьющиеся над дорогой снежные змейки и поежился, потирая нос.

— Вот холера, за двадцать перевалило!

Нос Тимофея Андреевича — это своеобразный местный градусник и барометр. Он почти всегда с большой точностью угадывает, какой силы мороз стоит.

Друзья наскоро распрощались и разошлись по домам.

Кямиле-апте сидела за швейной машинкой.

— Чего не спишь-то до сих пор?— Осман-ага взял в руки детские штанишки, изготовленные женой для внука, оглядел их со всех сторон.

— Вас, гуляк, дожидаюсь. Отец явился, а где же, интересно, дети?

— Стели постели, скоро придут.

Осман-ага открыл кухонный шкаф, загремел посудой.

— Ты что, с гулянки голодным вернулся?— удивилась Кямиле-апте.

— Катык у тебя где? Язмы* что-то захотелось.

Осман приготовил целый кувшин язмы, выпил ее без передышки, одним духом.

— Чего у тебя там, костры горят?— улыбнулась Кямиле-апте.— Иди ложись, постель готова.

Осман-ага развалился на пружинистой кровати. Хорошо. Мягко, тепло, уютно и очень приятно, когда на улице начинает подвывать метель. Спи, смотри приятные сновидения. Но сон никак не шел. Мысли одолевали голову Османа. «Тимоха говорит: дом строй, участок бери. Телочку, говорит, купил к свадьбе... А ведь и правда, созрел парень. Чего жмуриться, коли правда... Но вот задачка: дело-то с Люсей той, с Веденеевой, не такое уж простое. Колючее. Неужели успела она окрутить парня? Нет, Ведута не окрутишь, коли сам не захочет. А если бы что было на уме, то сказал бы родителям. Сам прекрасно знает: дети без родительского ума, что санки, летящие под откос. Но все же поговорить надо с парнем. Все, думаю, будет хорошо».

Через несколько минут Осман-ага громко захрапел, отринув от себя все заботы. Кямиле-апте и не помышляла ложиться спать. Она ждала детей.

---

* Катык — творог, кислое молоко. Язма — разбавленный водой, приправленный солью и чесноком катык.

Веселье на вечеринке, наконец, истощилось. Молодежь стала расходиться, прощаясь и благодаря хозяев. Ведут пошел провожать Люсю с подругами.

Девушки были чересчур легко одеты. Не успели выйти на улицу, как холод пронизал до костей. Сыпавший с вечера снег прекратился, небо было чистое, сияли яркие большие звезды, но дул колючий злобный ветер.

Люся словно цыпленок, ищущий защиты, спряталась под пальто Ведута, обняла его одной рукой. Плечи укрытые, а ноги-то в капроновых чулочках, в легоньких туфлях — «лодочках»!

— Коленки щиплет, мочи нет!— пожаловалась она, теснее прижимаясь к Ведуту.

— Надо было одеться потеплее. Не лето же!

— Знаешь ведь, хотелось тебе в новом наряде показаться.

Девушки, подружки Люси, не выдержали, убежали вперед.

— Думать головой надо,— рассудительно заметил Ведут. Он снял с себя шарф, обмотал им шею девушки.— Вот получишь воспаление легких — вмиг поумнеешь.

Они вошли в подъезд общежития, поднялись на второй этаж, встали у теплой батареи на лестничной площадке. Длинный коридор, освещенный тусклым светом нескольких слабых лампочек, был безлюден. Жильцы давно уже спали. Только с первого этажа, где обитали мужчины, изредка доносился гитарный перезвон, видно, там тоже отмечалось какое-то событие.

Люся прислонилась к батарее, щеки ее после мороза раскраснелись, иголочки инея, севшие на золотистые волосы, растаяли и теперь сверкали на свету, как жемчужины.

Ведут вынул носовой платок и осторожно обтер им лоб и волосы девушки. Люся потянулась к его руке, готовая схватить ее и прижать к жарко горящей щеке.

Ведут спрятал платок в карман, усмехнулся.

— Порядок. Выпьешь стаканчик горячего чаю и согреешься.

Люся не сдвинулась с места, она все глядела на него каким-то пристальным непонятным взглядом. Ведут неловко потоптался на месте, поглядел на часы.

— Мне пора. Родители беспокоиться будут.

— Побудь еще немного. Нусрет с ребятами ведь домой пошел. Он скажет, что ты пошел нас провожать.

— Но ведь пора спать. Завтра на работу.— Ведуту и самому не хотелось уходить, расставаться с девушкой. Но с некоторых пор, едва оставался с Люсей наедине, его охватывало какое-то беспокойство, неловкость, не находил слов, казался самому себе дурак дураком и спешил покинуть ее. А уйдя, чувствовал себя пустым, никчемным, никому не нужным человеком. Свет становился не мил. Странное, непонятное состояние. Это удивляло и беспокоило парня. Почему так происходит? Ведь на людях он запросто разговаривает, смеется, шутит с Люсей, как и со всеми другими девушками, а только останутся одни — все, точно нажали в нем какую-то кнопку — превращается в пустую гулкую бочку, двух слов связать не может, бу-бу да бу-бу. Самому тошно слушать.

— О чем вы говорили с Эммой на кухне у Виктора? — спросила Люся вдруг, назвав имя одной из своих соседок по общежитию. В голосе девушки прозвучало ревнивое недовольство. Ведут пожал плечами.

— Я уже и не помню о чем.

— И танцевал ты с ней все время.

— Я со всеми танцевал. И с Майей, и с Алие, и с Оксаной...

— Она тебе нравится?

— Кто? Оксана?

— Не прикидывайся... Я говорю об Эмме. По часам

заметила, вы с нею пробыли на кухне целых двадцать две минуты.

— Может быть. На часы не глядел. Я разделывал мясо для жаркого, а Эмма чистила картошку.

— Тебе было с нею так весело и хорошо, что ты и не заметил меня, когда я вошла на кухню.

Тут уж Люся ошибалась. Ведут очень даже хорошо заметил, как она вошла на кухню, сказала что-то вроде: «Ах, вот где вы спрятались!», постояла у двери, не зная, что делать, постояла и ушла, резко повернувшись. Появление Люси было приятно Ведуту, он очень хотел, чтобы она осталась с ними, на кухне, но почему-то не попросил ее об этом. Даже сделал вид, будто не заметил, не придал значения ее появлению. С еще большим жаром и увлечением стал что-то рассказывать Эмме, смешить. Когда Люся ушла, с него сразу сошел весь пыл, стало тускло и неинтересно. Он ждал, что Люся появится опять, нарочно тянул время (если бы она пришла еще раз, он попросил бы девушку остаться), но Люся не пришла. Не пришла, а вон, оказывается, засекла точное время...

— Так нравится она тебе или нет?— нетерпеливо повторила свой вопрос Люся.

— Эмма, что ли? Да нужна она мне сто лет!..

— А кто же тебе нравится-то? Сердце-то у тебя хоть есть? Я нравлюсь тебе? Хоть вот столечко?— Люся показала кончик пальца. Ее опять стало колотить, но теперь не от холода, а от возбуждения.— Ты или притворщик великий или круглый болван, вот что я тебе скажу, мой дорогой.

Ведут опешил, отступил на шаг. Слова девушки чрезвычайно удивили, оскорбили его.

— Это я притворщик? Я болван?

— Ты, ты, ты!— подскочила к нему Люся и, обливаясь слезами, заколотила кулачками по его широкой груди.— Скажешь, ничего ты не видишь и не заме-

чаешь? Наивный пай-мальчишка? Нет, просто тебе нравится, когда кто-то за тобой бегает, как верная собачонка, тебе нравится, когда люди страдают, не зная ни сна, ни покоя — тогда тебе хорошо, тогда ты счастлив!

Ведут стоял, ошарашенный исступленной яростью Люси. Чего это она накинулась на него, что такого плохого он ей сделал, что она бросает такие обвинения?

— Как собачонка? Что ты мелешь? Зачем мне чужие страдания?!— отступил он еще на шаг.

— Конечно, тебе все-все равно, чурбан ты этакий! Пенек! Ох, откуда ты взялся на мою голову?! Нет, это все! Уеду я отсюда, уйду, чтоб глаза мои тебя не видели, чтоб уши мои не слышали! Уходи, вон, беги, маменька с папенькой небось заждались!..

С этими словами Люся резко повернулась и побежала по коридору, закрыв лицо руками.

Не знал Ведут Муратов, к каким последствиям приведет сегодняшний вечер и этот разговор, что именно они подтолкнут его к тому, чтобы впервые в жизни серьезно и вдумчиво заглянуть себе в душу, обнаружить в ней нечто, о существовании которого вовсе и не подозревал.

А сейчас он шел, насвистывая какой-то пустой мотивчик, и нет-нет да покачивал головой... Да, такое с ним еще не случалось... Ветер завывал все пуще, мороз лютел...

VI. «БОРОДАЧ» СЕРДИТСЯ...

Зима выдалась суровая. Целую неделю шел снег, мело, не давало глаз раскрыть. Занесло дороги.

Механизаторы в такую пору сидят дома, отдыхают.

— Хороший, видать, будет в этом году урожай,— проговорил Тимофей Андреевич, глядя на снежные

сугробы, выросшие до самых подоконников.— Пойду-ка проведаю Османа, заодно разомнусь.

В доме Османа, видно, случилась какая-то неприятность. Кямиле сидела на топчане заплаканная, с красными глазами. Дети толпились вокруг, притихшие и напуганные. Осман стоял у окна, дымил длинной «казбечиной». Большое блюдце перед ним было переполнено окурками. Никто из домочадцев не заметил появления гостя, пока Тимофей Андреевич сам не подал голоса, снимая с головы шапку:

— Мир сему дому! Ты чего торчишь у окна, Осман?

— Тимошка! Здравствуй. Хорошо, что пришел. А то сам хотел бежать к тебе.

— Куда там бежать? Я шел осторожно, пробовал каждый шаг, а все равно дважды кувыркнулся, холера! Гололед ужасный. Чуть тыкву свою не разбил,— постучал Тимофей Андреевич себе по голове.— Хорошо, меховая шапка самортизировала.

— Кямиле, пойди пошарь там на кухне, дай нам что-нибудь,— попросил Осман-ага, чтобы выпроводить жену.

Кямиле-апте по-своему поняла мужа. Решил, наверное, старый с другом по чарочке пропустить, подумала она.

Кямиле-апте поставила большую чугунную сковородку с застывшим на дне жиром на плиту, принялась чистить картошку.

— Что у вас стряслось?— повернулся Тимофей Андреевич к Осману, едва лишь хозяйка вышла из комнаты.— У вас такой вид, будто крыша над головой провалилась.

— Почти что так,— кивнул горестно Осман.

— Вот холера, да что «так»?— потерял терпение Тимоха.

— Говорят, девчонка та, Люся Веденеева, пропала.

Давеча подружки прибегали, те, что с нею в общежитии живут. Неделя, говорят, как исчезла.

— Вот холера! Может, это самое... домой уехала? Бывает ведь так: кажется, надежный человек, куда уж дальше, а на поверку выходит... Но Люся вроде... Нет, тут иное.

— Куда она без вещей могла деться? Девчата говорили, все вещи на месте, и деньги...

— Ну, ладно, исчезла, найдется... Но вы-то, вы тут при чем?

— А при том!— горько усмехнулся Осман-ага.— Сам ведь говорил... что между ними... это самое... любовь.

— Я не совсем так говорил. Сказал, что она сама влюблена в Ведута.

— А не все ли равно? Вот теперь в милицию его увезли. Бородач за ним заезжал.

«Бородачом» прозвали совхозного участкового милиционера Жалбая Аманова за его реденькую клинышком бородку. Его как огня боятся любители приложиться к бутылке, лихачи-шоферы и семейные дебоширы. «Бородач» строго блюдет законы. Но и несправедливости не допустит, всех в округе знает в лицо, кто чем дышит, как работает.

— Чепуха какая-то, — пожал плечами Тимофей Андреевич.— Ведут три дня в дороге торчал, чуть не замерз. Чего его по милициям таскать-то?

— Я и говорю. Я своему сыну верю, как самому себе.

— А ну давай, одевайся! Пошли к Аманову. Я сам с ним потолкую. Очумели они там, что ли?!

В комнату вошла Кямиле-апте, неся на подносе две рюмки и закуску.

— Куда вы собрались?— посмотрела она на мужа, который обувался, присев на низенькую скамеечку.— Я ведь картошку поставила жариться. Спирт вон развела.

— Это уж не по мне,— отмахнулся Тимофей Андреевич.— Кроме того, Аманов не выносит запаха спиртного и разговаривать не станет, если учует что.

И тут выдержка изменила Кямиле-апте, она упала на диван и разрыдалась, прижимая к глазам уголок фартука.

— Все беды на нашу голову валятся! Пропала какая-то фифа — мы виноваты! Чистого, как стеклышко, человека невесть в чем заподозрили! Да мой сын, Ведут, если на то пошло, мухи не обидит, не то что на жизнь человека посягнуть! Как они могли такое подумать! Будто убийцу какого в милицию увезли! Ах, оправдались мои сны, каждую ночь дурные сны снились! Говорила я тебе, Осман, не надо ехать, вот теперь тебе благодарность, возьмут посадят сына, тогда узнаешь!

— Чего ты мелешь, старуха!— прикрикнул на жену Осман-ага.— За что ж его посадят? Коли вызвали в милицию, значит, сразу же сажают, что ли? Ну поспрашивают, не знает ли чего, не видел ли... Ведь человек пропал, понимаешь? Может, она находится где, в помощи нуждается, может, замерзла, может, еще что...

— Осман верно говорит, Кямиле, не надо паниковать. Никто ведь не обвинял Ведута ни в чем.

— А эти девчонки, что давеча прибегали? Поссорились, говорят, разругались... Волками на нас смотрели!..

— Слава богу, такими делами не девчонки какие-то взбалмошные занимаются. Там,— Андреевич почему-то указал пальцем на потолок,— там головастые мужики сидят. Не чета нам.

Мужчины вышли на улицу. Мороз заметно пошел на убыль. Сквозь мутное небо проступало слабое солнышко. Ветер пощипывал нос и уши.

Тимофей Андреевич шел по узкой дорожке, протоптанной ранними прохожими впереди, Осман-ага, пону-

рив голову, следовал за ним. Друзья молчали, каждый поглощенный своими мыслями.

«Вот холера,— думал старый механик. Что же это у молодых стряслось? Вот так дела: не было печали — черти накачали. Как бы эта девка с собой что-нибудь не сделала. А что Ведут ни в чем не виноват — я головой ручаюсь. Не того поля ягода! Трудом воспитанный малый. Если его и вина, так то, что не полюбил девушку, как она его. Да разве насильно мил будешь?!»

«Хоть бы Виктор был дома, поехал бы с Ведутом вместе. Все ж парень чувствовал бы за спиной поддержку. Но где его возьмешь, Виктора? Неделя уж как сидит в городе. День-два пройдет, пока расчистят дороги и он сможет выехать в совхоз. Любовь... да какая там еще любовь у этого сопляка! Его кузов не гружен еще таким грузом, ясное дело». Так размышлял Осман-ага.

Аманов занимал небольшую комнату в клубе, рядом с библиотекой. Мужчины счистили снег с валенок, осторожно приоткрыли дверь. Перед столом милиционера на длинной скамейке сидели две девушки, те, что утром прибегали домой к Осману-ага.

— Подождите немного,— сказал Аманов, поеживаясь и показывая рукой, чтобы они поскорее закрыли дверь — она выходила прямо на улицу.

Друзья постояли немного, топчась на месте, потом дружно повернули и зашагали к дому Аблякима, что жил напротив «резиденции» Аманова.

Абляким сидел, подперев щеку рукой и слушал игру старшего сына на аккордеоне. Увидев гостей, он несказанно обрадовался, засуетился.

— Эй, жена, ну-ка, затопи печку хорошенько! Не жалей дров. Все равно штраф уже уплачен. Я сейчас принесу солений да пошлю парня в магазин...

— Садись, не мельтеши. Ничего не нужно. Мы ненадолго, — сказал Тимофей Андреевич, садясь так, чтобы в окно была видна дверь участкового.

— Ах, вы небось к Аманову?— хохотнул Абляким Беспалый, поглядев на озабоченные лица друзей.— Чего это я сразу не догадался? Зимой мой дом превращается в зал ожидания к участковому. Ему бы впору мне зарплату платить, а он с меня штраф содрал, бессердечный человек.

— За что штраф-то?— спросил Тимофей Андреевич.— Не по этому делу?— он щелкнул пальцем по горлу.

— Да нет. Попросил я на днях Лешку Баламута машину дров привезти. Как попросил, так он вскорости и привез: молодец, говорю, хорошо работаешь. Как умеем, смеется. Разгрузили мы дровишки, вижу, среди них и березовые поленья попадаются. Ну, ладно, мне-то что: березовые — так березовые. Сложил дрова в сарае, лег спать. Утром выхожу, смотрю, в сарае Аманов шурует. «Поди-ка сюда,— говорит,— знаешь, что вот эти березки из Джергаинской рощи?»— «Да разве на них написано,— удивляюсь я,— что из Джергаина?» «Нет,— отвечает Аманов,— не написано. Потому и заплатишь штраф. Пошли акт составлять». Я туда-сюда, но куда там! Вы же знаете Бородача, пришлось заплатить. Случаем, вас тоже не по такому делу вызвал?

— Нет, не по такому,— сказал Тимофей Андреевич.— А что Аманов штраф заставил заплатить — правильно сделал. Если мы все начнем жечь эти березки, то за год-два изведем всю рощу. А это ведь украшение нашего края, наша гордость. Правительство специальный указ издало, чтобы берегли леса.

— Мне нужны были дрова. Как я мог знать, откуда их привез Баламут?

— Впредь будешь знать. Аманов эти березки каждую в лицо знает, на сколько сантиметров они выросли

в этом году, сколько на каждой листочков. Вот увидишь, он и Лешку твоего Баламута возьмет за шкирку.

— Я не сказал, что дрова привез Лешка.

— Если даже не сказал — найдет,— отрезал Тимофей Андреевич.

— Может, пойдем?— вскинулся Осман-ага, до сих пор не проронивший ни слова. Он сидел как на иголках, ничто не вошло в его уши из того, о чем говорили Тимоха и хозяин дома.

— Куда же вы пойдете?— вскочил с места Абляким.—Давайте, я хоть солеными арбузами вас угощу. Нельзя же отпустить гостей, так ничем и не угостив.

— Подождем,— сказал Тимофей Андреевич, почесав затылок.— Все равно Аманов еще не освободился. Попробуем соленых арбузов, мне еще такого не приходилось отведывать.

Абляким принес большую чашу соленых арбузов.

— Это недозрелые арбузы. А я вот засолил, попробуйте. Ну, как, Тимофей Андреевич?

— Деликатес!— воскликнул Тимофей Андреевич.— Рецепт дашь, как их солить?

— Конечно. Да вы только дайте знать, когда соберетесь, я сам приду, все сделаю.

— Молодцы вы все-таки, ребята. Настоящие вы мичуринцы. Можно просто позавидовать.

— А то нет?— ударил себя в грудь Абляким. Он вообще любил малость прихвастнуть при случае.— На земле живешь, будь мичуринцем. Не давай ее плодам пропадать. Иначе грош тебе цена, человек.

— А как у тебя с учебой, Абляким?— поинтересовался Тимофей Андреевич.

— О, отлично! — Он схватил со стола газету и, смешно растягивая слоги, торжественно прочитал:—«Все шире развертывается социалистическое соревнование среди животноводов совхоза «Поландинский»... Учителем у меня сын,— Абляким бережно отложил газету в сто-

рону.— Это он меня научил грамоте. Сейчас учит играть на аккордеоне. Он ведь в музыкальную школу ходил до того, как мы сюда переехали. Теперь передает свои знания мне. С ним же мы изучили материальную часть комбайна. Бог даст, живы-здоровы будем, комбайн обещают дать, коли сдам экзамены. Страшновато все-таки, мозги-то, видать, уже затвердели, как старая смола, но я надеюсь... Получу машину — возьму сына в напарники, вдвоем и будем работать.

— Стоя гору не одолеешь, говорят,— заметил Тимофей Андреевич.— Будешь стараться — добьешься, Абляким.

Из двери амановского кабинета вышли закутанные по самые брови девушки. Осман-ага и Тимофей Андреевич поблагодарили гостеприимного хозяина и заспешили к участковому.

— А, гости, проходите, садитесь,— как-то холодновато встретил посетителей Аманов, указывая на длинную скамейку, приколоченную к полу напротив письменного стола. Друзья сели, чувствуя себя как-то неловко под насмешливо-изучающим взглядом участкового.— С чем пожаловали?

— Я насчет своего сына, Жалбайжан. Ведута Муратова,— кашлянул Осман-ага.— Хотел узнать, за что его забрали?

— А вы, товарищ Мирошниченко?— повернулся Аманов к Тимофею Андреевичу.

— Я по тому же вопросу. Ведут мой шофер, он мне почти как сын. Меня интересует его судьба.

Аманов взял у Османа-ага папиросу, закурил, выпустил дым в потолок.

— Та-ак,— протянул он после долгого молчания.— Ведут Муратов ваш сын, верно? И вы хотите узнать, «за что его забрали» и какова его «судьба», так я вас понял?

— Да, могу я узнать, в чем обвиняют моего сына?— начал терять терпение Осман-ага.

— Я отвез вашего Ведута в районное отделение милиции. Потому что пропал человек и объявлен его розыск. Но кто вам сказал, что вашего сына «забрали», «посадили», в чем-то его «обвиняют»? Плохо же вы знаете, товарищи, наши законы. И так плохо подумали о своем сыне. Хорошо это?

— Выходит, нам...

— Вот именно, выходит, зря притащились. Идите по домам и не беспокойте больше занятых людей. Если ваш сын не виноват, ни в чем не замешан — а вы в этом уверены!— даст он там нужные показания и вернется. Так что, полагаю, для тревоги нет причин.

VII. ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

Осман-ага и Тимофей Андреевич ушли от Бородача пристыженные, но несколько успокоенные. Верно сказал Аманов, думал Осман-ага, шагая вслед за другом, глубоко засунув руки в карманы бушлата. На старуху накричал, что паникует, а сам хуже бабы распустился. А чего бояться, раз уверен, что сын не мог ничего худого натворить? А что в милицию вызвали, так с каждым может случиться. Говорят, на голову коня и джигита какие только испытания не выпадают. Все надо достойно переносить.

Тимофей Андреевич прошагал мимо, даже не обернулся в сторону своего дома. Он решил побыть у Муратовых. Как ни успокаивай, а мать небось все равно будет изводиться. В таких случаях присутствие постороннего помогает, заставляет взять себя в руки.

Кямиле-апте сидела у окна с внуком на руках, который орал благим матом. Она совала ему соску, качала, пыталась петь колыбельную — дите заливалось пуще прежнего.

— Куда мать-то делась?— спросил недовольно Осман-ага, раздеваясь у вешалки.— Сейчас нам только этого концерта не хватало.

— Сейчас придет. Ну что Аманов?— Кямиле-апте пошла навстречу мужу.

— А что Аманов? Жив-здоров, нам того же пожелал. Обругал старыми дураками, велел сидеть дома и не беспокоить зря занятых людей.

— Как это не беспокоить? Ни за что, ни про что вызывают родного сына в милицию, а ты, оказывается, сиди дома, не беспокойся! Легко говорить. И ты, значит, успокоился, вернулся домой, старый дурень?!

— Ишь ты,— покачал головой Осман-ага и коротко взглянул на друга. Все-то нас, дескать, поучают. Крыть, однако, было нечем, поэтому Осман решил повернуть разговор:— Давай сюда малыша. Двенадцать детей вырастила, а одного внука успокоить не можешь.

Едва Осман-ага взял мальчика на руки, тот мгновенно перестал плакать, обиженно сопя.

— Дети, Кямиле, что листья на дереве,— сказал Тимофей Андреевич, проходя в комнату.— Дерево колышется — и листья трясутся. Видишь, твое состояние и настроение передались малышу. Не надо волноваться, ведь ничего плохого не случилось.

— Да, но ведь на каждый роток не накинешь платок, Тимофей Андреевич. Люди разные, могут всякое болтать.

— Поговорят — перестанут. Потом самим будет стыдно.

В передней кто-то затопал ногами, стряхивая снег, в комнату влетела раскрасневшаяся от мороза и быстрой ходьбы Оксана.

— Ну, дала я взбучку им, трещоткам! Спасибо, что о подруге заботитесь, сказала, но зачем языком-то лишнее болтать! Пригрозила, если будут еще людей баламутить, глаза бесстыжие их выцарапать!— Говоря

все это, Оксана энергично скинула с себя тулуп, шаль, забрала сына у деда, расстегнула кофточку, обнажила грудь и, не обращая внимания на мужчин, дала ребенку, который жадно впился в сосок.— Солнышко мое, проголодался? Все из-за этих! Мы им покажем, да, сынок? Дядю своего никому не дадим в обиду!

— О каких сороках ты говоришь, Оксана?— нашел наконец возможность вставить словечко Осман-ага. Он стоял боком у окна, чтобы не мешать снохе кормить ребенка. Тимофей Андреевич, тот вообще давно ретировался на кухню.

— Ну, об этих, соседках Люси,— пояснила Кямилеапте. Те, что утром прибегали и требовали сказать, куда Ведут подевал их подругу.

— Я и сказала им,— затараторила опять Оксана,— говорю, если вы заподозрили Ведута в чем-нибудь лишь за то, что они поссорились, за то, что Люся любила Ведута, а он ее — нет, то и я могу говорить, что это именно вы сделали что-нибудь со своей соседкой по общежитию. Потому что у нее был любимый, а у вас — нет, Люся красивая, а вы обе кочерыжки... Поговорила с ними по-свойски, потом отбила телеграмму Виктору, и вот, прибежала...

— Виктора-то зачем побеспокоила?— насупился Осман-ага.— Он и так там мается, переживает, что домой не может попасть... А ты — телеграмму!

— Брат должен быть рядом, когда брату плохо. Нечего там торчать.

— Но заносы, говорят тебе! Как он приедет, если это невозможно?

— А хоть как. По мне, пусть с самолета с парашютом прыгает — лишь бы был рядом с отцом-матерью в трудный час.

— Чудная ты, Оксана!— только и нашелся Осман-ага, покачал головой и, прихватив папиросы, ушел на кухню, где давно уже дымил паровозом Тимофей Андре-

евич. Женщины остались одни шушукаться. Малыш уснул, удовлетворенный.

Тимофей Андреевич был прав, когда думал, что мать не успокоить никакими словами: ты ей хоть горы обещаний навали, а она будет изводиться, пока не увидит сына рядом, живого-здорового, которому не грозит никакая опасность. Не в своей тарелке чувствовал себя и Осман, хоть пытался скрыть свое состояние. Курил одну папиросу за другой, то садился на табурет у окна, пристально вглядываясь на дорогу, то вставал, принимался ходить по кухне. Поставил картошку греться, забыл снять — картошка вся пригорела.

Посидел-посидел Тимофей Андреевич, потом решился: вскочил и начал поспешно одеваться. Удивленному Осману кинул на ходу:

— Собирайся в дорогу. Поедем в райотдел, чего тут сидеть-то, маяться...

В полдень Осман-ага, Тимофей Андреевич, Кямиле-апте выехали на «техничке» в райцентр. За рулем сидел Тимофей Андреевич. Путь неблизкий — сорок километров, дорога блестит, как зеркало, покрыта коркою льда. Чуть зазеваешься — ищи косточки в кювете. Но Тимофей Андреевич ведет машину и ходко, и осторожно, ни разу не дал ей заюзить, забуксовать. Крутит баранку, напряженно глядя на дорогу, а сам все успокаивает Кямиле, которая сидит рядом в кабине, тяжело вздыхает, шепчет про себя что-то.

— Мы, Кямиле, люди неученые, много чего не знаем в жизни,— говорит Тимофей Андреевич.— Работу свою, обязанности — пожалуйста, а вот тонкости всякие — не по нас... Нам подавай широкую, гладкую, прямую дорогу. Чтоб ни гололеда вот такого не было, ни зигзагов, ни крутых поворотов. А жизнь нет-нет да подсовывает нам свои сложности, в тупики заводит, в кривые улочки, где ишак-арбе не проехать, не то что машине... Тут, главное, голову не терять, знать, на ка-

кой скорости ехать, где взять правее, где левее, где назад подать, а где и газку поддать...

— Ах, Тимофей Андреевич, навету подвергся мой сын, навету...

— Я вот давеча, когда за машиной в гараж пошел, парторга нашего встретил, Айдара Айдаровича. Говорю ему, так и так, мол, вы, наверное, не слыхали, что случилось с лучшим работником нашего совхоза? Слыхали, говорит, все знаем. Коли знаете, говорю, чего же сидите сложа руки? А что прикажешь делать, Андреевич, спрашивает, пойти в милицию и доказывать им, что Муратов не виновен? Так это право ему обеспечивает сам наш закон. Говорит, в юриспруденции есть такое понятие... э-э, как его... пре... презумп-ция невиновности, говорит, называется. Человек должен доказывать свою невиновность, а следствие должно установить, виноват он или нет. И пока оно этого не доказало, человек, которого в чем-то заподозрили, чист как стеклышко. Тогда-то я и понял, почему Бородач сказал, что законов не знаем. Законы, они, Камиле, не для того придуманы, чтоб карать всех подряд, кто под руку подвернется, а для того, чтобы всегда справедливость торжествовала...

— Вашими устами да мед бы пить, Тимофей Андреевич,— прослезилась Кямиле-апте.— Умом все понимаю, а вот сердцем...

Часа в три подъехали к зданию районного отделения. Осман-ага и Тимофей Андреевич зашли в дежурную часть, сказали, что хотят видеть начальника отделения.

— Начальник занят,— ответил дежурный.— А вы по какому вопросу, товарищи? Может, я сумею вам помочь?

— Мы приехали... — начал Осман-ага и зашагал, не зная, что говорить дальше.

— Мы хотим видеть Ведута Муратова,— закончил за него Тимофей Андреевич.

— Ведут Муратов?.. Та-а-ак,— повел пальцем дежурный по исписанной странице общей тетради.— Ведут Муратов. А за что он доставлен в отделение? Драка? Пьяный дебош? Жена пожаловалась?

— Да нет. Его утром Аманов из «Зернового» привез. Это... девушка у нас пропала. Веденеева, Людмила Макаровна. Вот Бородач и привез Ведута с собой сюда к вам.

— Так свидетелей, товарищи, мы тут не регистрируем. Пройдите к старшему лейтенанту Мирзаеву. Он занимается этим делом. Двенадцатая комната.

За столом в кабинете сидел широкоплечий, чернобровый, краснощекий молодой казах.

— Я вас слушаю,— сказал он, пригласив посетителей сесть.

— Я по поводу сына приехал, товарищ старший лейтенант,— сказал Осман-ага, теребя в руках шапку.— Муратова Ведута.

Следователь пристально поглядел на бледного Османа-агу, видно, понял его состояние, мысли и опасения, терзавшие душу отца.

— Чем занимаетесь, Осман-ага?

— Шоферю. Шоферы мы все,— ответил Осман-ага, озадаченный тем, что Мирзаев обратился к нему, как к старому знакомому по имени, да еще «агу» прибавил. Откуда и узнал-то имя?— И Ведут, сын, шофер, и Виктор... Могу я его увидеть? — спросил Осман-ага хрипло, хотел добавить: «посмотреть ему в глаза», но не смог.

— А вот тут я ничем не могу вам помочь,— спокойно ответил Мирзаев, закрывая папку и откладывая в сторону.— Ваш сын часа два назад ушел. На полпути, наверное, уже к дому.

У Османа-ага будто пружина какая сработала внутри: он готов был выбежать сейчас из кабинета, обнять,

успокоить жену, милую старушку свою, сесть за руль «технички» и мчаться, мчаться к «Зерновому», невзирая на гололед, на встречные машины! Но он сдержал себя, только руки его, сложенные на коленях, вздрагивали нервно.

— По показаниям свидетелей,— продолжал Мирзаев, словно не замечая состояния Османа-ага,— соседок Веденеевой по общежитию, Людмила Макаровна исчезла в ночь с двадцать шестого на двадцать седьмое декабря. Алиби вашего сына на это время установлено полностью. Вечером он был в клубе, смотрел фильм «Чемпион мира». Это подтвердили многие свидетели, которые видели Ведута на сеансе. Потом он остался на танцы; Веденеевой же в этот вечер ни в кино, ни на танцах не было. По данным, полученным вашим Бородачом, как вы там называете товарища Аманова, вечером того дня ее вообще никто не видел, это заставляет думать, что ее уже к тому времени не было в поселке. Вечером разразилась пурга, занесло дороги... Можно предположить, что Веденеева где-то пережидала непогоду, а потом просто не могла выбраться домой... Но тут нашелся на Джергаине шарф вашего сына. Ведут объяснил, что шарф дал Люсе, когда они шли с вечеринки в доме брата. Говорит, что она была легко одета. Но как этот шарф оказался на Джергаине, как сама Веденеева очутилась в этой пустынной местности, при каких обстоятельствах уронила она шарф — все это пока неясно. Поэтому я велел вашему сыну никуда из совхоза не отлучаться, очень возможно, что нам придется еще раз встретиться с ним. Вот и все. Можете идти. Впрочем, поспешите, может быть, ваш сын до сих пор ищет попутную машину в «Зерновое»...

Так оно и оказалось. Ведута они нашли на окраине городка, у развилки дорог, где едущие на «Зерновое» обычно ловят попутки. Он порядком замерз, был хмур и неразговорчив. Только когда обнимал мать, глаза его

увлажнились, на отца он старался не смотреть. Османага молча похлопал его по плечу, ничего, мол, не переживай, сын, я был уверен, что ты ни в чем не виноват, просто беспокоился за тебя, не мог не беспокоиться...

Поехали. Ведут вроде оттаял, но когда Кямиле-апте случайно упомянула имя Люси, вдруг взорвался.

— Оставьте вы все Люсю в покое, слышите?— закричал он.— С нею, может, несчастье какое случилось! И я виноват перед ней. Не понял, какой души она человек. Только бы ничего не случилось — ни за что не отпущу от себя.

Возле дома Муратовых стояла машина Виктора, вся обледенелая, какая-то скособоченная. А из дома доносился какой-то неясный шум, крики, взвизгиванья.

— Он что, треснулся куда, что ли?— озабоченно кивнул Тимофей Андреевич на машину Виктора.— Весь левый борт ободран.

Они поспешно открыли калитку, теряясь в недобрых предчувствиях. Но до дома не дошли. Дверь веранды вдруг с треском растворилась и на улицу вывалился клубок ребятни во главе с Виктором и... Люсей.

Все застыли на месте, не смея поверить своим глазам. Ни живой, ни мертвый стоял Ведут, смотрел на Люсю. Потом сорвался с места, подбежал и... крепко обнял ее. Не постеснялся, что рядом отец с матерью, братишки и сестренки, посторонние люди... И никого, впрочем, это сейчас не удивило, не рассердило. Он обнимал человека, с которым — страшно подумать!— невесть что могло случиться, о котором невесть что думалось, но вот он стоит перед всеми, живой-невредимый, во плоти и крови, во всей цветущей девичьей красе.

— Жива?— прошептал Ведут едва слышно.

— Жива, дурачок мой милый,— так же прошептала Люся.





Ведут немного отстранил от себя девушку, заглянул ей в глаза.

— Где же ты была, куда исчезла?

— Думала от тебя убежать... Но от себя-то, оказывается, не убежишь... Неделя эта целой жизнью показалась мне, мой родимый. Не смогу я без тебя, сколь бы далеко ни ушла...

— А я тебя и не отпущу, родная. У меня словно пара новых глаз открылась.

— Эй, хватит обниматься!— прервал перешептыванье молодых Виктор.— Ишь, обрадовались!

Ведут поспешно разомкнул объятия, отступил назад. Однако через секунду схватил девушку за руку и потащил к машине.

— Эй, постой, куда ты ее?— остановил брата Виктор.

— К Бородачу! Покажу ему Люсю Веденееву, убитую мною. А заодно и всему поселку!— крикнул Ведут.

— Ни к чему это, Бородач все знает. Мы уже были у него. Пошли лучше в дом.

Страшный сон, говорят, оборачивается хорошей явью. Так и здесь случилось. Все были безмерно обрадованы, взволнованы, было не до того, чтобы сесть, спокойно поговорить, объясниться. Женщины то плакали, то смеялись, обнимались, целовались, их разговоры состояли из одних восклицаний.

Мужчины уединились на кухне, и, нещадно чадя папиросами, смогли, наконец, поговорить. Из рассказа Виктора выяснилось следующее.

Двадцать шестого декабря Виктор должен был выехать в рейс с утра; вечером, известно, устраивалась у него дома вечеринка. Гости разошлись поздно — Виктор чувствовал себя совсем разбитым. Хотел отпроситься у завгара, но тот как нарочно куда-то сгинул; кроме того как-то и неудобно отказываться, спихивать кому-то трудный рейс. Виктор оформил путевой лист, заправил-

ся, подогнал машину к дому и завалился спать. Оксана куда-то ушла с ребенком и его никто не разбудил. Проснулся, смотрит, четыре часа. Начиналась метель. Что делать? Сполоснул быстренько лицо, взял кое-что пожевать в дороге и выехал. Ехал медленно — метель. И где-то возле Джергаинской рощи вдруг что-то мелькнуло перед машиной, раздался толчок. Виктору показалось, что перед капотом появился человек. Резко взял руль влево, нажал на тормоза. Шум, треск. Выскочил из кабины, смотрит, в снегу и вправду человек лежит. Подбежал, видит, Люся.

Осмотрел Виктор Люсю: вроде все нормально, ничего страшного, хорошо, не на скорости шел. Поднял на руки, внес в кабину. (Здесь-то, наверное, они и обронили злополучный Ведутов шарф). Задумался, куда ехать. Обратно в «Зерновое»— далековато. Решил добираться до Катартала. И близко, и у знакомого шофера Андрея жена — врач. Привез, осмотрели Люсю. Сказала, что ничего страшного, но полежать ей в постели несколько дней необходимо. Уверившись, что все благополучно, Виктор попросил Андрея позвонить в «Зерновое», сообщить, что Люся здесь, жива-здорова, и поехал дальше. Не думал он, не гадал, что дело примет неприятный оборот: телефонная связь с «Зерновым» как на грех из-за сильного снегопада прервалась. Тут-то и заварилась каша...

— Да чего она там искала, на Джергаине-то, в такое время, одна? — воскликнул недоуменно Османага.

— Она в Катартал шла,— глянул Виктор на отца.— Уйти решила из «Зернового», мол, подальше с глаз — из сердца вон. Хотела вначале договориться с заведующим отделением, потом уж переехать... А тогда, когда я подобрал ее, спросил, что она тут делает, так разрыдалась и сказала, что искала весну.

Тимофей Андреевич вспомнил солнечный весенний

день, когда они приехали на Джергаин, и Люся с Ведутом убежали в березовую рощу...

Ведут тоже, видно, подумал об этом дне, как-то виновато посмотрел на Тимофея Андреевича, опустил голову. «Любовь, что только она не вытворяет с людьми!»— подумал старый механик и вздохнул. Все как-то попритихли, призадумались.

Тут встрепенулся Виктор.

— Ну, чего мы сидим как на похоронах? Самое время праздновать! Отец, вы тут организуйте женщин, пусть закуску готовят, а я в магазин.

— Послушай, Витя, ты там зайди к Аблякиму. Пусть даст немного своего деликатеса, соленых арбузов. Мировая штука!— сказал Тимофей Андреевич.

— И самого позови, Витка. И сына прихвати с аккордеоном,— добавил Осман-ага.

Открыв наружную дверь, Виктор столкнулся носом к носу с Амановым и с шутливым испугом попятился назад.

— Ведут, прячься!— гаркнул он, оборачиваясь назад.— Эмвэдэ пришло за тобой!

— Отставить!— засмеялся Бородач.— Оглядев всех, он нарочито плотоядно погладил бородку:— Вижу, тут сабантуйчик намечается, а?

— Проходи, Аманов, проходи, человек,— выступила вперед Кямиле-апте.— Желанным гостем будешь. С такими, как ты, радость приходит к людям. Заходи почаще, Жалбай.

— Э, по такому поводу я и телка бы не пожалел, — ухмыльнулся Аманов.— Бешбармак бы приготовил или ваши эти... как его... чебуреки. Тоже хорошо по любому поводу.

— Телку зарежем на свадьбу.

— А невесту-то чуть не потеряли,— съязвил участковый.

— Мы ее не теряли,— отпарировала Кямиле-апте.— Она сама хотела сбежать от нас.

— А телку мы сегодня все равно зарежем!— вмешался Тимофей Андреевич.— Поехали, Виктор, подвезешь меня до дома. А вы, женщины, давайте готовьте самые большие казаны и сковородки. Гулять так гулять!

Снежная зима сдержала обещание: пшеница уродилась на полях славная. Скоро уборка. Механизаторы с уборочной техникой, шоферы с машинами, рабочие — все наготове: ждут страды. Дождался ее и Абляким: одолел книжную премудрость и стал комбайнером. Ехал Абляким, важно восседая на сиденье, горделиво поглядывал по сторонам. Пыливший навстречу грузовик вдруг затормозил, из кабины высунулся Осман-акай:

— Абляким, поздравляю!— крикнул он.

— Чего?— не понял новоиспеченный комбайнер, тоже остановил свою голубую чудо-машину.

— Говорю, поздравляю с новым урожаем.

— Спасибо!— заулыбался друг. И, кивнув на кузов машины Османа, добавил:— А ты готовь свои мешки!

Осман-ага озорно подмигнул Аблякиму: не беспокойся, мол, наши «мешки» ждут вас — не дождутся, и тронул машину. А Абляким пооглядывался по сторонам, поулыбался чему-то своему, потом тоже погнал вдоль по улице своего голубого красавца.

В это время по пыльной степной дороге мчалась «техничка». В кабине рядом с водителем дремал пожилой механик. Его голова нет-нет да ложилась на плечо шофера. Тот улыбался, молчал.

Пусть покемарит старик. Устал. А может, ему эта дорога надоела, которая всегда ведет в пятую бригаду, где табельщицей девушка по имени Люся, и куда их вызывают чаще, нежели в другие бригады? Что ж,

вызывают, значит, нужны. Надо ехать... Старым по дороге можно и вздремнуть. Пусть бодрствуют молодые, у них ведь и мысли другие, и заботы... Разве неправда?

Ведут смотрит вдаль, где на горизонте синеет березовая роща Джергаин, и улыбается.

Машина мчится посреди зеленых волн бесконечного, необъятного казахстанского созревающего хлеба...



Родные

Повесть

НАЧАЛО

На задке высокой арбы о двух колесах, свесив ноги, сидел человек. Он внимательно смотрел по сторонам, с явным наслаждением вдыхал ароматный горный воздух...

Не доезжая до ветхого моста через Зарафшан, он вдруг встрепенулся, соскочил с арбы и бросил возчику через плечо:

— Спасибо. Я приехал.

И все. Это были единственные слова, которые он произнес на всем протяжении их долгого пути. Возчик поехал дальше, нет-нет да оглядываясь на этого странного молчаливого человека. «Будто тяжесть гор на плечах несет,— покачал головой арбакеш.— Сам не знает, что ли, куда едет? Вылез посреди гор...»

Оказавшись на земле, человек тут же забыл об арбе, глянул на солнце, как бы определяя время, постоял с минуту в раздумье, потом решительно направился к горе, высящейся над Зарафшаном.

На ногах его были чарыки из бараньей сыромятной кожи, портянки, аккуратно намотанные на икры, сверху обтянутые кожаными же тесемками до колен. Чарыки ссохлись от зноя и теперь сильно жали.

— Эй-ва, в чарыках, видать, в тутошних краях не разгуляешься,— пробормотал человек, карабкаясь на гору. Под ногами его журчали камушки, тихо шелесте-

ла редкая трава, желтая, ломкая под жаркими лучами солнца.

Эта гора с ровной площадкой на самом верху, называлась Чабан-атой. В самом деле, она возвышалась над Зарафшанской долиной, как отец над детьми, над всеми окрестными горками, кажущимися отсюда, с вершины Чабан-аты, мирно пасущимися овцами.

Человек обошел площадку, потом опустился на землю, разулся и, подставив ступни освежающему ветерку, застыл, созерцая картину, открывшуюся его взору.

Справа в легкой дымке громоздятся горы. Слева тоже. Долина впереди кажется бесконечным раздольным садом, перемежающимся хлопковыми полями. Посреди этих садов и полей извивается, делясь на ручьи и ручейки, образуя небольшие островки, река Зарафшан. Кое-где она вышла из берегов — такие места покрылись густыми камышовыми зарослями. Зарафшан стремительно подбегает к Чабан-ате и почти у ее подножия умеряет свой бег — здесь он сливается с водами Карасу.

«Говорят, просто так ни одно прозвище не дается,— думал человек в чарыках, зачарованно глядя окрест.— Вот эта гора, например. Не зря, наверное, назвали ее Чабан-атой. Возможно, некогда по ее склонам гонял свои отары известный чабан. Сам умер, исчез, а память осталась навеки. Ведь гора — вечная... Это я... меня никто нигде не вспомнит. Ни родных, ни друзей-знакомых... Всех поглотила проклятая война! Изверги, все село сожгли, ни малого, ни старого не пощадили. И Зейнеб мою милую, и крошечку Лейлу!..»

Он вдруг разволновался и, будто куда-то опаздывая, начал поспешно обуваться. В это время за Зарафшаном появилась отара. Овцы, не обращая внимания на сочную траву под ногами, устремились к реке. Видно, сильная жажда одолевала. За ними едва поспевал пастушонок, парнишка лет двенадцати-тринадцати.

Спуск к реке неудобен, обрывист, вовсе непригоден для водопоя. «Эх, молодо-зелено!»— подумал человек, глядя, как овцы, стремясь к воде, столпились у берега, а задние продолжали напирать на передних. Вот не удержалась одна овца, упала в воду, за нею другая, третья...

Человек не выдержал, заорал во всю мочь:

— Эй, глупый мальчишка! Ты что делаешь?! Что делаешь?!

Мальчик беспомощно бегал вокруг отары, пытаясь отогнать овец от крутого берега. В это время еще две овцы оказались в стремнине. Мальчик уронил палку, и, закрыв лицо руками, громко заплакал. Овец, упавших с обрыва, быстро уносило.

Путник взбирался на Чабан-ату долго, с передышками, осторожно обходя кручи. А сейчас ему потребовались какие-то минуты, чтобы сбежать вниз. Если бы кто видел его в этот миг, то понял бы, что человеку этому не впервой так носиться по горам, что это горец по крови, который пройдет по любым кручам и тропинкам.

Человек ни секунды не медля прыгнул в реку и поплыл по течению широкими размашистыми саженями. Обогнав овец, по горло погруженных в воду и жалобно блеющих, он выбрался на песчаный островок, образованный в середине Зарафшана. Река здесь делилась на два рукава, разливалась вширь и поэтому течение ее делалось потише, а глубина — поменьше. Человек, по-видимому, определил это еще до того, как прыгнул в пучину — он не потерял ни минуты зря: одну за другой выловил из воды овец, перенес на островок.

— Раздевайся — давай сюда! Чего смотришь?— крикнул он мальчику, который стоял на берегу, не зная что делать.

— Боюсь я, ака! Река глубокая!

— Боишься? Что ж ты за чабан? Кто только доверил тебе целую отару?!

Человек поднял одну из овец на плечо и медленно побрел к берегу, держась против течения вполоборота. Вода местами приходилась ему по грудь. Овца лежала на плече смирно, вода, сбегавшая с ее шерсти, обильно лилась за воротник.

Оставив овцу на берегу, он взял у мальчика обрывок веревки и вернулся на островок. Связал передние ноги двух овец вместе, конец взял в левую руку. На плечо поднял еще одну овцу, опять влез в воду. Пробирался он на этот раз медленнее, зато вынес сразу трех овец: одну на плечах, а связанных вместе тащил на веревке по воде. Вскоре и они благополучно присоединились к отаре. Солнце тем временем опустилось за гребни гор.

Сабри — так звали человека — стал под деревом джиды, снял одежду и принялся отжимать ее.

— Откуда вы идете, ака?— спросил мальчик, помогая ему.

— Из Самарканда.

— А где вы живете, в Самарканде?

— Нигде.

Мальчика не очень-то удивил такой ответ. Годы были такие — даже до самых глухих уголков докатились отголоски людских бед, принесенных войной.

— Идемте к нам в кишлак,— предложил мальчик.— Гостем будете.

Влажная одежда прилипла к телу, становилось все прохладнее. Человек, хотя ничего не ответил на предложение мальчика погостить у них в кишлаке, молча пошел за отарой.

Крайне благодарный за помощь, мальчик не знал, как выразить Сабри свою признательность.

— Если бы не вы, ака, я зараз потерял бы пятерых овец. Что бы мне сказали в правлении?!

— Так можно потерять не пять, а гораздо больше. Давно ты чабаном-то?

— Два месяца уже.

— Но ты ведь еще очень молод для такой работы!

— Что поделаешь... Все на фронте. Бывший чабан наш погиб. Пятеро детей остались сиротами. Есть у нас два старика, но куда им чабанить?!

— Отчего это твои овцы такие худые?

— Э, ака, это они еще поправились! Видите, даже курдюки заметными стали. Из пятисот овец вот... сто пятьдесят осталось.

— А как на это смотрит ваш председатель?

— А как ему смотреть? Пишет, столько-то передохло, столько-то осталось — и делу конец. Как-то зашел я в контору. Раис наш говорит бухгалтеру: «Что тут поделаешь? Война без потерь не обходится. Пиши, не сомневайся. Акт все спишет».

Так за разговором они и не заметили, как вступили в кишлак. Мальчик загнал овец в овчарню — низенькое покосившееся глинобитное строеньице. Накинул на дверь петлю, повернулся к спутнику:

— Пойдемте, ака. Вы замерзли, наверное.

У Сабри за весь день макового зернышка во рту не было, а тут еще невольное купание: после двух-трех пиалок чая с лепешками из джугары его совсем разморило. Едва дойдя до отведенного ему для ночлега места, он упал и заснул непробудным сном. Мальчик, удостоверившись, что незнакомец крепко спит, выскользнул из дома...

Утром, едва рассвело, в калитку постучали. Сабри был уже на ногах.

— Вас вызывают в контору,— сказала женщина, вошедшая во двор.

— А что им нужно?— Он, конечно, не знал, что мальчик-пастух был ночью у начальства, рассказал ибо всем, что произошло на реке.

— Не знаю,— пожала плечами женщина.

Сабри шел за посыльной чуть поотстав, тяжело пере-

ставляя ноги: чарыки за ночь высохли и опять жали безбожно. «А что удивляться?— думал человек.— Время военное. Все делом заняты, а ты болтаешься тут. Конечно, любой заподозрит что-то...»

Председателю было лет пятьдесят, с остренькой бородкой, невысок.

— Келинг, мехман, добро пожаловать, гость,— встретил он Сабри приветливо, но оглядел внимательным взглядом с ног до головы.— Прошу, садитесь.— Налил в пиалу чаю, протянул гостю. Рядом с председателем сидели еще двое. Как потом выяснилось, это были парторг и бухгалтер колхоза.

— Из каких сторон будете, ака?— спросил раис, погладив бородку.

— Из города иду,— ответил Сабри.— Из Самарканда.

— Мы знаем, что вчера вы совершили благородный поступок,— продолжал председатель.— Не каждый кинулся бы в воду спасать чужих овец...

— Так ведь, хоть и бессловесная скотина, но они тоже живые. Можно ли было спокойно смотреть, как они гибнут?!

— Успокойтесь, мехман. Пейте чай,— наполнил парторг пиалу. Потом спросил, мягко, без назойливости допрашивающего: — Какая у вас специальность?

Гость поглядел на него внимательнее. Выглядит гораздо моложе раиса, лет ему, наверное, тридцать пять-сорок, одна рука в черной перчатке, не гнется — протез, значит, и лицо вон изборождено шрамами,— видать, хлебнул всякого на фронте.

— Чабан я,— ответил гость просто.— Отец был чабаном, дед был чабаном... И я сам чабанил пятнадцать годков. Зовут меня Сабри, по фамилии Муслимов. В начале войны, когда фашисты заняли наш край, я угнал свою отару в горы и сдал партизанам. Триста с лишним голов овец и коз.

— А сами что делали?

— Сам тоже остался с партизанами. Участвовал во многих операциях. Был разведчиком. В одном из боев получил тяжелое ранение. Отправили на Большую землю, в госпиталь. Спасибо, доктора поставили на ноги.

— Семья, дети есть?

— Были... жена и двое детей,— тяжело вздохнул Сабри.— Фашисты сожгли наше село за связь с партизанами. Жену и дочку, Лейлу, расстреляли вместе с другими жителями села. Сын, Сервер, парнишка смекалистый, сумел в суматохе улизнуть, спрятаться. Потом пришел к нам в отряд...

— Где он теперь?

— Если б я знал...— грустно ответил Муслимов. — Воюет, наверное, вместе с партизанами.

— А чем вы сами сейчас занимаетесь?

— Ничем,— развел руками Сабри.— Я вам уже говорил, что всю жизнь чабанил. С малых лет в горах с овцами... Боюсь, на другое какое дело и не способен...

Парторг улыбнулся.

— Может, это и к лучшему? Хотите к нам чабаном?

Сабри в первый миг обрадовался было, но от него не ускользнуло, как вдруг замкнулось лицо председателя, как он бросил на парторга недоумевающий взгляд.

— Работать я хочу, но... смотрите сами,— сказал Муслимов с достоинством.— Никому набиваться я не намерен. Тем более, что ни вы не знаете меня, ни я не знаю в тутошних местах никого.

— Ладно,— кивнул парторг.— Идите, сегодня отдыхайте. Завтра с утра пораньше и приходите. Я сам съезжу с вами в район.

Сабри молча направился к двери. Он чувствовал, что предложение парторга не совсем пришлось по душе председателю, что после его ухода наверняка состоится между ними крупный разговор.

— Да, товарищ Муслимов!— остановил его у самых дверей не проронивший до сих пор ни единого слова бухгалтер.— За овец вам выписано пятнадцать кило кукурузы и литр подсолнечного масла. Зайдите на склад, получите.

Сабри поблагодарил и не спеша, аккуратно прикрыл за собой дверь.

После его ухода в кабинете некоторое время царила тишина. Наконец раис дал волю своему гневу.

— Вы вообще думаете, что делаете, товарищ Хыдыров?!— ударил он ладонью по столу.— Доверить первому попавшемуся на дороге человеку колхозное добро! Вы слышали, что он сказал? «Угнал отару в горы и сдал партизанам!» Можно ли этому верить?

— Парень он, видать, с норовом,— осторожно поддержал председателя бухгалтер.— Такой может всякое учудить.

— Не знаю, как вам,— ответил парторг, терпеливо выслушав их,— но мне он понравился. Прямой, открытый. И не робкого десятка. Такой оборонит отару и от четырехногих хищников, и от двуногих проходимцев, которых, кстати, развелось у нас в последнее время предостаточно. Потомственный чабан, такого искать будешь — не найдешь.

— Ну, это еще как сказать,— протянул раис, но было видно: он начал сознавать, что перегнул палку.

— Никто ему еще не вручал всех наших овец.— Парторг переставил чайник, стоявший перед ним, на другое место.— Неизвестного человека ведь можно проверить. А, Расул-ака, верно я говорю? Потому я и просил его прийти завтра с утра. Думал, сам один поеду с ним в райком. Хотел взять ответственность на себя. Но раз у вас другое мнение, придется поехать и вам с нами.

— Да стоит ли это дело таких хлопот?— опять по-

высил голос председатель.— Райком тут еще впутывать...

— Стоит, Расул-ака. Вы знаете, почему многие люди зовут нас не просто по имени, а по должности: «Раис-ака», «Парторг-ака»? Потому что положение наше вызывает особое уважение у людей. За дело, доверенное нам, мы и перед людьми, и перед райкомом в ответе. И о пользе этому делу должны мы прежде всего думать.

— А я что?— пожал плечами раис.— Как человек, этот Муслимов и мне понравился, ничего против него не имею. Просто выразил сомнение...

— Вот и разрешим завтра все свои сомнения.

На другой день Мамаджан Хыдыров, Расул Расулов и Сабри Муслимов побывали в райкоме партии. Сабри представил здесь свои документы — партийный и военный билеты, наградные листы на орден и медаль, удостоверение, выданное командованием партизанского соединения, справку из госпиталя и еще раз, более подробно, рассказал о себе и о своей семье, о ее жестокой судьбе.

У Расулова рассеялись последние сомнения, и он был рад, что наконец-то в крепкие руки отдаст колхозную отару.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

На обратном пути они остановились пообедать в придорожной чайхане. Заказали три лепешки, ниша́лду, зеленый чай. Сабри полез было в карман, чтобы расплатиться, но Мамаджан остановил его.

— Постойте, ака. Здесь принято платить после. К тому же вы наш гость. За угощение должны платить мы.

— Гость?— переспросил Сабри и пошутил:— А я думал, уже...

— Вы приняты в колхоз,— вмешался в разговор Расулов.— Ну, а по-настоящему колхозники вас признают своим тогда, когда покажете себя в деле.

— Тоже верно,— согласился Сабри.

Сели в дальнем углу чайханы, разломили лепешки (от них исходил такой дух, что кружилась голова — пшеничные!), разлили чай.

— С хлопком мы худо-бедно справляемся,— сказал парторг, как бы продолжая разговор, начатый председателем.— Мало людей, нет техники, но ничего, тянем-вытягиваем. А вот животноводство... самое слабое место наше. Сколько овец потеряли — страшно сказать. Это ведь не только потеря, но, как говорят наши старики, еще грех на душу...

Сабри задумчиво покивал головой, потом осторожно поставил пиалу на дастархан.

— Вчера, после разговора с вами, я побродил по кишлаку, посмотрел хозяйство, поговорил с людьми. А овец ваших я уже имел «удовольствие» видеть. Худые до невозможности. Есть среди них больные и такие, которые не сегодня-завтра сдохнут от истощения. Первонаперво их необходимо отделить от остальных, больных лечить, истощенных — особо подкармливать, чтобы поставить на ноги. Сейчас август. Значит, из отары нужно удалить также кочкаров — баранов-производителей. Где-то до середины октября.

Председатель записал что-то себе в блокнот.

— Для овечьего «госпиталя» — будем говорить так — нужны будут люди. Тут годятся и женщины, и подростки, женщины даже лучше — они заботливые. За кочкарами присмотрит мой помощник, Раимджан, если, конечно, вы оставите его у меня в помощниках.

— Ладно, оставим,— кивнул Хыдыров.— Дальше.

— Дальше — овцам нужно крытое помещение на лето. Соль крайне необходима. И самое главное, заготовить и свезти корма к месту зимовки отары. А до

зимы, сами знаете, остается всего ничего. Кроме того, извините, при овчарне нужно соорудить для меня небольшую каморку.

— Зачем?— удивился Хыдыров.— Мы вас пока определим кому-нибудь на постой. Можете жить у того же Раимджана. Места у них в доме достаточно. Со временем, если захотите, мы выделим вам участок, стройтесь на здоровье.

— Спасибо. Но я не о себе беспокоюсь. Сейчас, пока овцы ночуют в закрытой овчарне, нужно поднимать их раза три-четыре за ночь.

— А это зачем?

— Летом овцы сильно перегреваются, особенно по ночам. Ведь они лежат, тесно прижавшись друг к дружке. А перегревшаяся овца теряет аппетит, плохо ест и спит, становится беспокойной, в результате заболевает. Надо время от времени разгонять сбившихся в кучу овец, так сказать, проветривать их.

— Хорошо,— хлопнул себя по коленке раис.— У вас, хоть вы и не приступали еще к работе, требований к нам уже больше чем достаточно. Тем не менее мы постараемся обеспечить вас всем, чем можем. А вы что обещаете?

Сабри некоторое время молчал, опустив голову. Потом сказал сдержанно:

— Не люблю давать поспешных обещаний. Говорят же, цыплят считают по осени. А овец по весне. При нынешнем состоянии отары трудно ожидать рекордов. Но после окота, надеюсь, в ней будет насчитываться голов триста, не меньше.

— О, это уже кое-что!— воскликнул Мамаджан.

— Что ж, по рукам!— улыбнулся председатель и обменялся с новым чабаном рукопожатием.

— Не сочтите за назойливость,— сказал, помявшись, Мамаджан,— еще один вопрос, Сабри-ака. Когда я увидел вас, сразу обратил внимание на вашу обувь...

При этих словах все разом взглянули на чарыки Сабри.

— Э, история одна вышла...— улыбнулся неловко Муслимов.— Это чарыками называется у нас. Из сыромятной кожи, профессиональная обувь чабанов, так сказать. В них легко ходить по горам, они удобны, дешевы, хорошо греют... Но при всех достоинствах своих, для ваших краев, я вижу, они не годятся. При жаре сыхаются и ходить в них тогда — мученье.

Сабри уселся поудобнее. Он чувствовал, что от него ждут истории, которую он упомянул.

— После госпиталя мне сказали: поправь здоровьишко и устраивайся, где можешь — воевать ты более не способен. Наши края еще под немцем, нигде нет ни родных, ни знакомых. Куда деваться? Пошел в деревню, что была рядом с госпиталем. Поселился у старушки одной. С внуком они жили, парнем лет шестнадцати...— Сабри тяжело вздохнул.— Сам здоровый такой, веселый, а ходить не мог... после какой-то болезни осложнение произошло, ноги парализовало. Так этот парнишка налюбоваться не мог моими кирзовыми сапогами. Говорил, что если бы у него были такие сапоги, он наверняка бы пошел ногами. Когда я собирался в вашу сторону — мне врачи посоветовали: в теплые края податься, лучше всего в Среднюю Азию, в гористую часть, — я подарил парню сапоги, а себе соорудил чарыки. Я это умею, а кожа у старухи была...

— Обувь мы вам выпишем, ака. Не переживайте, у вас еще все будет,— сказал Мамаджан.

— Спасибо,— ответил Сабри.— Я многого не хочу. Привычен довольствоваться малым. Самое большое, чего я хочу: мирного неба над головой и чтобы кровь человеческая не лилась на земле...

— Золотые слова,— вздохнув, согласился с ним Мамаджан. Взоры всех невольно обратились на его руку. Она была в черной негнущейся перчатке, неживая...

«ВЫГОДНОЕ» ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Миновала зима, пришла весна. Окот прошел благополучно.

В начале мая Муслимов дал правлению колхоза короткий рапорт: «От ста двадцати овцематок получено сто пятьдесят три ягненка». Председатель, который все же никак не мог преодолеть в себе возникшее при первой встрече предубеждение к Сабри, вынужден был признать, что колхоз только выиграл, взяв чабаном Муслимова и выполнив условия, им поставленные. Если дела пойдут и дальше так, то овцеводство станет одной из ведущих, доходных отраслей колхоза.

Однако Сабри чувствовал, что своим здесь он еще не стал — несмотря на его успехи, к нему по-прежнему приглядываются, изучают. Особенно заметно это было в поведении заведующего фермой, близкого друга Расулова. Потому Сабри и думал, что настороженность идет от самого председателя. Надо как-нибудь в открытую поговорить с Расуловым, решил он. Как коммунист с коммунистом. Мнительность, недоверие только вредят делу, неужели не понятны такие простые истины?!

Все разрешилось само собой, и притом самым неожиданным образом. Как-то вечером в комнатушку при овчарне, где почами оставался Сабри, заявился завфермой Куддусов. С многозначительным видом вынул из внутреннего кармана брезентового плаща бутылку с сургучной головкой и торжественно водрузил на стол.

— Давай, Муслимов, пропустим помаленьку.— Несмотря на разницу в возрасте — Сабри был старше Куддусова лет на десять,— завфермой всегда звал его по фамилии и говорил только «ты».— Работаем как ишаки, о себе забываем, о детях своих. Имеем мы право хоть немножко отвести душу, повеселиться?! Я думаю, имеем!

Он развернул сверток, который держал в руке, вывалил на стол три вареных курицы.

— Хлеб-то у тебя есть, надеюсь? Давай пиалки, Муслимов.

Гостя, как известно, не выгонишь. Сабри достал полторы кукурузные лепешки, оставшиеся после обеда, соль, завернутую в тряпицу, алюминиевую кружку и граненый стакан — все, что имелось в закутке.

— Извините, посуда у меня не ахти.

— Ничего, сойдет. Лишь бы не протекала, наше добро не изводила.

Куддусов разломил курицу. Сабри, привыкший жить экономно, оставшихся кур начал заворачивать обратно в бумагу.

— Оставь, чего суетишься!— махнул рукой завфермой.

— Ведь не съедим столько! Домой возьмете.

— Ха, домой!— засмеялся Куддусов,— скажешь тоже. Не привык я, Муслимов, домой в сеточке двести граммов маслица, пятьсот граммов мясца, килограммчик рису тащить. Мужчина должен быть мужчиной.

Сабри промолчал. Выпили, закусили. Завязалась беседа.

— Видишь, Муслимов, дела у нас, вроде, идут на лад. Это хорошо. Ты уж не обижайся, я держал тебя поодаль, думал, присмотрюсь прежде, выясню, что за человек. Ну, теперь вижу, мужик ты толковый, с тобой можно завязать дела. Горькое-сладкое испытал, ценишь жизнь. За все отвечаю: за ферму, за поголовье, за прибыль, за людей. А жизнь течет, дни бегут...

Куддусов задумался, пригорюнился. Может, беда какая у него стряслась, подумал Сабри. Вот и пришел душу отвести, горем поделиться. Нельзя не пожалеть человека в такой момент...

— Конечно, время не остановишь,— сказал он осто-

рожно. А когда тяжело — на что же друзья? Подставят плечо, глядишь, и тяжкую тяжесть легче нести...

— Вот это верные слова!— обрадовался завфермой.— Вот именно, друзья должны вместе тащить любую тяжесть. А мы ведь друзья отныне, верно? Потому и хватит ходить вокруг да около. Будем откровенны. Ты, Муслимов, опытный чабан и умный человек: хорошо знаешь, на чем держится мир. На деньгах. Верно я говорю?

Сабри улыбнулся, пожал плечами.

— Вот ты недавно,— продолжал Куддусов, кивнув на две курицы, лежавшие отдельно на краю стола,— сказал, чтобы я отнес их домой. Домой, дорогой друг Муслимов, я сам ничего не несу. Мне самому приносят. Птицу — десятками, яйца — сотнями. Чтоб я ходил, мелочился — да никогда! Но, как говорится, долг платежом красен. Любишь брать — люби и отдавать.

Сабри чувствовал, что вокруг него затягивают сетку, как при ловле перепелок, но никак не мог понять, чего от него хотят. Поэтому молчал, слушал.

— Овцы наши нынче хорошо выглядят. И мяса нарослo на них достаточно, и жиру. На рынке им ногами земли коснуться не дадут. Послезавтра базарный день. Так вот, завтра ночью я подгоню сюда грузовик, погрузим десяток овец и я увезу их. В тот же день я привезу обратно те же десять голов.

— Десять увезете — десять привезете... Что это значит?

— Эх, простая душа!— засмеялся Куддусов.—Увезем и продадим больших, жирных, упитанных барашков, а привезем десять штук худобы. Наши овцы, по три тысячи за голову, будут стоить тридцать тысяч, а десять худых, хилых, которых мы купим там же, на базаре, не сходя с места — по пятьсот рублей, всех за пять тысяч. Понял теперь? Разница в двадцать пять тысяч рубликов у нас в кармане. Как говорится, ни шашлык не

пригорит, ни шампур, на который он нанизан. Я мог провернуть это дельце и сам... Но вижу, как ты стараешься, работаешь, не жалея себя, а сам жуешь вот...— кивнул на стол,— черствые кукурузные лепешки. Пора и тебе, наконец, зажить по-человечески, домом, хозяйством обзавестись, молодку какую в соку найти... Словом, хочу тебе просто по-братски помочь.

Сабри сидел бледный, в голове его стоял гул, руки тряслись от гнева.

— Я не тот заяц, на которого вы охотитесь, дорогой,— заговорил он медленно, раздельно произнося слова — старался сдержаться, не взорваться. — Я не гонюсь за богатством, тем более, если добыто оно нечестным путем. До сих пор я жил человеком, человеком же и помру. Душу за деньги, грязные деньги, не продам.

Он встал, решительно завернул две курицы, бросив к ним остатки недоеденной, сунул в руки опешившему завфермой, распахнул дверь.

— Прошу, уходите... А то я за себя не ручаюсь.

Куддусов, видно, не ожидал такого оборота дела, но быстро взял себя в руки.

— Ладно, не горячись, Муслимов,— сказал он, выбираясь на улицу.— Я тебе добро хотел сделать, а ты вон как... Бьешь по руке, протянувшей тебе хлеб. Врагов найти легче, чем друзей...

— Не пугайте — я пуганый уже,— сказал Сабри твердо.— Не раз смерти в лицо глядел, чего уж страшнее.

Какое-то время он смотрел вслед Куддусову, потом быстро оделся и направился прямо домой к парторгу Хыдырову. Рассказал ему все, что произошло.

— Жаль,— покачал головой Мамаджан,— немножко вы поспешили. Надо было согласиться, тогда бы мы поймали его с поличным. Но ничего. Я знаю, о подобных делишках этого человека уже имеются кое-какие

материалы. Думаю, это последняя капля. Передадим дело в прокуратуру — деваться ему будет некуда.

Так оно и вышло. Прижатый к стене Куддусов признался не только в своих махинациях (почти половина «павших» по акту овец была, оказывается, продана на сторону), но и выдал своих сообщников: один из них пристроился на птицеферме, другой — на складе. Преступники понесли заслуженное наказание. За неумелое руководство, слабый контроль и попустительство расхитителям народного добра сместили с поста председателя колхоза Расула Расулова. По рекомендации райкома на его место общее собрание колхозников единодушно избрало Мамаджана Хыдырова. На том собрании был назначен новый заведующий фермой — Сабри Муслимов.

ПИСЬМО ОТ СЫНА

Прошло несколько лет. В людских сердцах еще свежо звучали отголоски войны, но жизнь шла своим чередом. Началось освоение Голодной степи, строительство нового города в пустыне — Янгиера. Сюда отовсюду съехались комсомольцы и молодежь. Был среди них и Сервер. После войны он работал на шахте в Донбассе, а потом, когда Сабри-акай разыскал его и они списались, переехал в Узбекистан, в Ангрен. А недавно Сервера вызвали в райком комсомола и предложили ехать в Мирзачуль. Он с радостью согласился — давно хотел перебраться поближе к отцу, знал, каково ему жить в одиночестве. И вот он в Янгиере, почти полгода уже...

Стояла ранняя весна. Сабри проводил Раима с отарой, напутствовав его:

— Смотри, сынок, не выпускай овец дальше Волчьей балки. Трава на пастбищах еще молодая, неокрепшая. Пройдет отара по ней — все перетопчет, месяца на два

выведет пастбище из строя. Мы должны приберечь его к окоту...

Раиму можно не говорить этих вещей — он стал опытным чабаном — где тот мальчик, который некогда лил беспомощные слезы на берегу Зарафшана?! Но, как говорится, повторение — мать учения. Забот у Сабри предостаточно: в одной отаре, которую пасет Раим, семьсот маток. Если каждая принесет хотя бы по ягненку — в отаре будет тысяча четыреста голов. Успевай только прокормить, ухаживать за ними до того, как довести их до кондиции и сдать государству...

Проводив Раима, Сабри направился в правление. По дороге и повстречался почтальон, который вручил ему долгожданное письмо от Сервера. Он тут же вскрыл конверт. Вот что писал сын:

«Дорогой отец! Ты, наверное, ругаешь меня: что, мол, за сын, который месяцами не пишет ни строчки, ничего не сообщает о себе. На то у меня были причины, но я все же прошу прощения. Виноват, папа, прости. Дело в том, что я по комсомольской путевке приехал на строительство Янгиера, поближе к тебе. Приехать — приехал, а профессии-то строительной у меня нету. Куда только ни кидали меня! И горючее возил на арбе, и разнорабочим на прокладке дороги, и подсобником на стройке подвизался. Стыдно было людям в глаза глядеть. Таким никчемным, бесполезным себя чувствовал. И тебе потому не писал. Это в моем-то возрасте — в двадцать один год! — все начинать сначала. Но ты знаешь, работа под землей мне никогда не нравилась. Меня всегда тянуло к земле, на воздух, в простор полей. Теперь окончил вечерние курсы механизаторов, получил новенький бульдозер. Это уже профессия! Могу делать дело — и чувствую себя человеком.

Знаешь, папа, уже после того, как тебя отправили на Большую землю, нас, пятерых, послали на опера-

цию. У двоих были автоматы, у третьего — дедовская берданка, у четвертого — ружьё без патронов. Пятым был я. И вооружен «гранатой» — деревянным ее макетом. Идешь в бой против хорошо вооруженного врага с деревяшкой в руке и, конечно, чувствуешь себя, точно голый среди одетых. Но ничего. Обратно в лагерь мы вернулись вооруженными. И автоматами обзавелись, и гранатами настоящими... Вот и теперь, имея серьезную профессию, я почувствовал себя хорошо вооруженным воином, не кажется теперь, что я голый среди хорошо одетых людей.

Помнишь, папа, в последнем твоем письме ты говорил, что пора мне уже подумывать насчет создания семьи. До сих пор я как-то не относился всерьёз к этому. Наверное, потому, что сам еще не определился, не знал, к какому берегу пристать.

Сейчас, мне кажется, дело может продвинуться и в этом плане. Я тут встретил двух девушек. Одну зовут Лида. Маленькой девочкой лишилась она отца, мать была тяжело больна — и Лида воспитывалась в детдоме. Больше ничего о ней не знаю. И еще одна девушка — Селиме. Она окончила медицинский техникум в Самарканде, к нам попала по распределению. У нее есть брат Нариман, неплохой парень, мы с ним дружим. Вот, папа, эти две девушки. Они обе нравятся мне в равной степени, обе красивые, умные, хорошо ко мне относятся. И я сейчас как тот парень в сказке: стою перед двумя дорогами и не знаю, по какой идти. Раз так, значит, я считаю, душа еще не готова, не сделала своего выбора. Подождем еще немного, да, папа?

Тут у нас достраивается трехэтажный жилой дом. Недавно прораб наш сказал мне: «Женись, Муслимов, поскорее, и получишь квартиру в этом доме». Он пошутил, но жилье получить надо, если хочешь обзаводиться семьей... А дом и вправду хорош. Вообще красивый вырастает город Янгиер. Вот если бы мама была жива,

увидела, что дела наши идут на лад, как бы она была счастлива!.. Я рад, что у тебя тоже все хорошо, папа. Очень соскучился по тебе. Постараюсь как-нибудь в ближайшее время выбраться. Поговорим обо всем подробнее. На этом кончаю. Крепко целую,

твой сын Сервер».

Вечером, вернувшись домой, Сабри перечитал еще раз письмо сына, сел писать ответ.

«Оглум! Дорогой сын!

Очень обрадовался, получив от тебя весточку. Во-первых, узнал, что ты жив-здоров, это уже многое значит. Во-вторых, что ты перебрался ко мне поближе, работаешь в Янгиере. Молодец, сын, я знал, что ты никогда не будешь скрываться в кустах, а всегда будешь на переднем крае, в самой горячей точке. Я очень-очень доволен, что ты с честью одолел трудности, а теперь с полным основанием можешь гордо заявить: «Я — строитель!»

У меня все по-старому. Работаю, ношусь по пастбищам, по лугам. Зиму в этом году обещают суровую, поэтому о зиме мы должны позаботиться уже теперь, с весны заготовить достаточно кормов. Забот хватает. Еще в прошлом году мы начали строить овчарню на двести голов с обогревом, с автоматическими кормушками и поилками, но дело никак не сдвинется с мертвой точки: поставили фундамент — и все. То нет кирпича, то цемента, а когда раздобыли все — началась хлопковая страда, значит, не до стройки, нет людей. А без помещений нечего и думать об увеличении поголовья, о прибыльности животноводства...

Я тут затеял еще одно дело. До сих пор ни за копейку пропадало все овечье молоко. Вот я и решил открыть при ферме небольшую сыродельню. Нашел хоро-

шего мастера, отвоевал место. На днях отправим в город первую партию сыра, там, на рынке, у нас будет работать постоянно действующий комиссионный ларек. Какой-никакой, а все же доход в колхозный карман. Не терплю, когда дело расходится со словом. Мы любим говорить, в газетах писать, что то сделаем, это сделаем, выполним, перевыполним... Я понимаю, в каждом хозяйстве есть магистральная линия, так сказать, основная отрасль. У нас, конечно, это — хлопок. Наша задача — дать государству столько хлопка, сколько оно от нас ждет. Но мы можем дать людям больше — мясо, молоко, фрукты, овощи. Для этого в полную силу должны работать все отрасли: животноводство, бахчеводство, овощеводство... А у нас нет людей: ни специалистов, и рабочих. Написал я об этом в райком, просил помощи.

Сервер, оглум, я рад, что наконец-то ты начал подумывать о женитьбе. Пора. Я уже иду к закату, силы совсем не те. Хотелось бы видеть тебя отцом семейства, внуков понянчить.

Одно, сын, меня, право же, сильно удивило, даже рассердило. Ты пишешь о девушке, что она тебе понравилась, что она умна, красива и все прочее, а сам, оказывается, не говорил даже с ней толком, не расспросил ни о ее родителях, ни о том, где родилась? Я вот ни одного нашего земляка не могу пропустить, не расспросив, откуда он родом, кто родители, нет ли у нас общих знакомых? И, конечно, не премину поинтересоваться, не знал ли он кого из нашей деревни, не спасся ли кто из ее жителей после того жуткого побоища?.. А как же иначе?! Человек надеждами жив, говорят у нас. А вдруг?! У меня всегда теплилась надежда, и теперь живет во мне, что спаслись, спаслись наша мама и Лейла, живут где-то и нас с тобой оплакивают. Так что, Сервер, сынок, зря ты до сих пор не поговорил с девушкой, не разузнал, кто она, что она? Боевое задание тебе: не-

медленно исправить свою оплошность, а по исполнении доложить. Договорились?

Приезжай, как только будет возможность. Я очень соскучился по тебе. Да и поговорить есть о чем: масса всякой-всячины накопилась.

Жду, крепко целую.

Отец».

ОБЪЯСНЕНИЕ

Вечерами, едва спадет жара, Лида обязательно обходит строительные объекты. Она отмечает объем проделанных работ, записывает, у какой бригады какая нужда, какие требования — обо всем этом она, как табельщица, докладывает на вечерней планерке у начальства.

Сегодня по пути домой ее остановила Селиме.

— Здравствуй, подруженька. Что-то ты в последнее время избегаешь меня? Или обиделась на что?

— Ну что ты, Селиме! Просто времени совсем не хватает — работы ведь, сама знаешь, сколько!

— Конечно, конечно, в кино ходить время находится, а навестить подружку...

— Ах, вот ты о чем. Да уж выбралась в кои-то веки раз в кино и то, оказывается, уже известно всему городу! Этот парень... как его... Сервер пристал, пойдем да пойдем в кино, вот я и пошла, не хотелось обижать человека.

— Неужели? А я думала, ты вовсе не безразлична к нему.

— Парень он хороший. И статью, и нравом, и на работе основательный, старательный. Но для меня он — только хороший товарищ — не более.

Лицо Селиме словно ярким солнцем осветилось.

— А как ты относишься к моему брату Нарима-

ну?— заглянула она в глаза Лиды.— Он ни о ком другом и говорить не хочет, кроме как о тебе!

Девушка ответила не сразу; какое-то время шла, низко опустив голову, было видно, что едва речь зашла о Наримане, настроение у нее резко изменилось.

— Твой брат Нариман, Селиме,— заговорила она,— во многом похож на Сервера. И красив собой, и работящ, но у него есть одна слабость — ты сама знаешь. Он неравнодушен к спиртному. Сколько раз замечала: мимо кафе или столовой не пройдет, не заглянув в буфет.

— А пьет-то он из-за тебя! Сколько раз плакался мне, что ты, кажется, любишь его друга, Сервера, что без тебя жизнь ему не мила, что горе свое он топит в вине. Я говорила, что это не выход, что это самый легкий и самый неверный путь, что он погубит и себя, и свою любовь. Ах, если бы ты дала ему хоть самую маленькую надежду — он бы зарекся и каплю в рот брать.

— Ничего обещать я не могу, Селиме,— вздохнула Лида.— Но пить пусть бросает. Сейчас я не могу даже говорить на эту тему. Я должна, наконец, перевезти к себе маму. Она очень больна, и годы уже не те. Как только появится у меня свой угол — поеду за ней. А дальше видно будет...

— Эти слова твои уже много значат, подруженька. А квартиру тебе обещают?

— Комнату. Да нам на двоих и комнаты вполне хватит.

Лида шла задумчивая после встречи с Селиме и потому даже не заметила юношу, преградившего ей путь.

— Здравствуй, Лида, я хотел с тобой поговорить.

Она вздрогнула, но узнав Сервера, улыбнулась. Ле-

гок на помине. Придется, видно, и с ним поговорить начистоту. Пусть не тешит себя иллюзиями.

— Я тебя слушаю, Сервер,— остановилась Лида, подумав, что не очень-то удачное место и время выбрал парень для объяснения в любви. Но Сервер что-то не спешил заговорить. Он внимательно, изучающе смотрел в лицо девушки. Лиде вдруг стало как-то не по себе.

— Что ты так смотришь, Сервер?— тихо спросила она.

Юноша попытался улыбнуться, но не смог, взял ее за локоть, повернул к себе:

— Скажи, Лида, как тебя зовут?

— Чего спрашиваешь, ты же зовешь меня по имени?

— Прошу тебя, ответь прямо: как тебя зовут? Лида — настоящее твое имя?

— Настоящее мое имя — Лейла. Но в детдоме назвали Лидой, так и осталась Лидой.

— А фамилия твоя Сулимова, это твоя настоящая фамилия?

Девушка со все возрастающим удивлением глядела на Сервера. А тот прямо-таки горел каким-то лихорадочным огнем, пальцы рук его мелко дрожали. Волнение юноши передалось и Лиде.

— Нет, не настоящая. Когда оформили мои документы в детдоме, фамилию записали, видно, так, как им послышалось или было легче произносить. Бабка-то, занимавшаяся этим делом, была не больно грамотная.

— А как настоящая фамилия?— весь подобрался Сервер.

— Муслимова.

Сервер пошатнулся, как от удара.

— Ты говорила, что у тебя есть мать. Больная мама. Как ее зовут?

— Зейнеб. Зейнеб Муслимова.

Сервер вдруг закрыл лицо руками и стоял, покачиваясь из стороны в сторону, боясь закричать в голос.

Наконец он взял себя в руки и спросил, чтобы рассеять последние сомнения:

— Лида... Лейла, у тебя на плече... правом плече должен быть маленький шрам.. шрам, похожий на полумесяц.

Девушка, до которой до сих пор как-то все не доходил смысл происходящего, вдруг заволновалась.

— Шрам? Да, шрам... Но ты откуда знаешь? Я никогда не выходила на улицу в платье с открытыми плечами.

— В детстве... когда я носил сестренку на плечах, однажды мы с ней загремели с высокой лестницы... Сестренка ранила плечо. Правое. Потом рана зажила, а шрам остался. В виде полумесяца.

— Да, в виде полумесяца. Есть шрам... да...— Лейла уже не могла говорить, из глаз ее ручьем лились слезы.

— Ты когда-нибудь слышала, что и моя фамилия Муслимов?— продолжал юноша.— Разве мама не говорила тебе, что твоего брата зовут Сервером, а отца — Сабри?

— Говорила,— выдавила Лейла сквозь рыдания.— Но откуда.. как ты догадался?

— Сердце подсказало. Все тянуло к тебе, тянуло. И не просто как к девушке... а как к родному, дорогому человеку. Написал о тебе отцу. Он тоже вроде что-то такое почувствовал. Поругал меня в письме, написал, что ж я не расспросил тебя... Я, говорит, ни одного земляка не пропускаю, все спрашиваю, не знает ли чего про Зейнеб и Лейлу, а тебе было лень даже спросить у девушки, которая постоянно рядом с тобой. Я, говорит, не верю, не могу поверить, что они погибли. И ты должен верить. Видишь, так оно и вышло, сестренка.

— Родной мой, Сервер!— кинулась ему на грудь Лейла. Теперь они оба не сдерживали слез счастья...

ВСТРЕЧА РОДНЫХ

Редкие желтые листья, еще цепляющиеся за ветви, с шелестом срываются от малейшего дуновения ветерка, парят в воздухе, потом покорно ложатся на землю. Вечерами стало прохладно. Новые виноградарские совхозы снимают с плетей последние грозди, хлопководческие колхозы, выполнив план, подбирают с полей курак — сдать лишние тонны «белого золота» всегда почетно.

В один из таких осенних дней Сабри-ага ехал на коне с пастбища. По дороге нагнал отару Раима. Спешился, пошел рядом. К этому парнишке он питал отцовские чувства.

— Что-то та овца, с белой отметиной на груди, все время ложится,— сказал Раим, указав на овцу, бредущую с краю в самом конце отары.

— Да, очень больной вид у нее,— согласился Сабри-акай.— Давай приторочим ее к седлу. Загонишь овец в загон, отвези на ветпост.

По дороге навстречу им ехал Хыдыров. Спешившись поздоровался, знаком дал понять Раиму, что он может идти дальше, потом повернулся к завфермой.

— Давайте посидим малость. Сабир-ака. Пойдем, когда пыль уляжется.

Они отошли к арыку на краю дороги, присели в редкой тени уже облетевших талов. Сабри ждал от раиса какого-то серьезного разговора, но тот вдруг весело хлопнул его по плечу и воскликнул:

— С доброй вестью, Сабри-ака!

— С доброй?— улыбнулся Сабри.— Ради бога. Сын, наверное, приехал? Письмо было недавно.

— И сын приехал. Но это еще не все. Не зря же я поехал навстречу вам!

— Самая большая радость для меня — это приезд

сына. Большего не могу представить. Разве только мертвые могли бы воскреснуть...

— А если мертвые могут воскреснуть?

— Не мучьте меня... Прошу вас,— прошептал Сабри, бледнея.

— К вам приехали сын и дочь.

— Какая дочь? Вы хотите сказать, невестка...

— Дочь, я вам говорю! Дочь, которую вы считали погибшей, дочь, которую зовут Лейла.

Сабри вскочил на ноги, побежал было по дороге, но его догнал Мамаджан.

— Садитесь на моего коня и скачите,— крикнул он.

Сабри полетел через весь кишлак подобно птице. У ворот ждали его с нетерпением Лейла и Сервер. Дочь бросилась на шею отцу.

— Отец, дорогой мой отец!— Лейла целовала его заросшие густой, уже седой щетиной щеки, мокрые от слез красные глаза.

— Дочь моя! Лейла!— прошептал Сабри-ага.— А мать? Мать?

— Жива. Болеет, но жива.

В тот вечер дом Сабри-ага был переполнен гостями. Все радовались счастью, посетившему заведующего фермой. Наутро, когда солнце только-только начало высветлять лик земли, родные выехали в путь. Сервер и Лейла остались в Янгиере, Сабри Муслимов же, отец, поехал дальше, за своей Зейнеб.

На обратном пути Сабри-акай и Зейнеб-апте остановились на несколько дней в Янгиере, повидались с сыном и дочерью. Зейнеб-апте было всего сорок девять лет, но выглядела она на все семьдесят — так сказались на ней беды и болезни. Сплошь седые волосы, лицо серо-желтое, изборождено глубокими морщинками, в глазах застыла неизбывная печаль, спина сгорбилась.



Она часто плакала, глядя на мужа или Сервера, часто, по нескольку раз в день, вспоминала те жуткие мгновения, когда они с Лейлой были буквально в шаге от смерти...

— Сервер, сынок, сядь, посиди немного рядышком,— говорила мать, гладя широкие, мускулистые плечи сына.— Разве б я узнала тебя, встреть на улице? А ведь был щупленьким мальчишкой. Но уж тогда ты отличался смышленостью, редким проворством и ловкостью.

— Я, мама, с того часа, как убежал, все время корил себя, что бросил вас на произвол судьбы. Порою казалось мне, что я сам обрек вас на смерть. Стыдно было людям в глаза смотреть.

— Ну что ты, если бы я могла, дала бы возможность бежать всем, кто мог. Лейла была слишком мала. Вот я и решила, что удастся тебе скрыться — хорошо, не удастся — все равно погибать. Ну, а не убежал бы, какую пользу ты нам принес? Жуткие были те времена, не приведи господь им повториться на горе малым детям безгрешным и кормящим их матерям! Самое дорогое, что есть у человека — жизнь, а она не стоила и копейки. Подвезли нас к глубокому яру, ссадили из машин. Прижимаю Лейлу к груди, пытаюсь руками закрыть ее маленькое тельце — да разве руками укроешь человека от неумолимого горячего свинца?! У кого просить пощады, помощи? У людей, что были одеты во все серое? Так они и были убийцами, хуже самых диких зверей — ведь даже хищники убивают только когда голодны...

Вытирая слезы длинным рукавом просторного, слишком просторного для нее платья, Зейнеб-апте продолжала:

— Стали выстраивать нас на кромке глубокой ямы, спешили фашисты, нервничали — ведь рядом был лес. Крик, плач, стенанья, проклятья... Все голосят разом,

человек пятьдесят — женщин, старух, детей. И едва раздались выстрелы, я прыгнула в яму, прижимая к себе дочь. Она не плакала, не стонала, ни звука не издала, и я не знала, попала в нее пуля или нет, но тельце все время оставалось теплым, и я надеялась, что она жива... Стервятники не стали даже допивать свежую кровь, что лилась из открытых ран их жертв — не добили тяжелораненых, стонущих людей, бросили на медленную мучительную смерть и укатили. Глубокой ночью выбрались мы из яра — Лейла была невредима, оказалось, еще несколько человек живы... ранены, но живы, и разошлись мы кто куда, где кто мог найти приют и прибежище...

— Мама, не надо больше об этом. Ведь вспоминать — все равно, что заново каждый раз умирать... Вам надо теперь беречь себя. Хотя бы ради нас, когда мы, наконец, все вместе.

— О сынок! Великое счастье посетило нас. Все живы-здоровы, нашли друг друга. Теперь надо думать о будущем. Умирать не хочу. Я должна поплясать на вашей свадьбе, понянчить ваших детей. Ты старший, Сервер, значит, тебе и пристало поторопиться. Ищи быстрее свою судьбу. А Лейла... хочет жить с нами — будет с нами, в колхозе, хочет — здесь. Ее воля. Но и ей пора подумывать о семье.

Лейла, которая сидела рядом, зарделась, отвернулась и сказала:

— Серверу и искать не надо судьбы. Есть девушка, которая любит его давно. Одно слово брата — и в доме у нас заиграет музыка.

На сей раз покраснел до корней волос Сервер.

— Ладно, скажу я это слово. Но с музыкой придется подождать. Получу вот жилье, тогда и о тое можно подумать.

— Никаких «тогда»— отрезал все время молчавший Сабри-ага. — Иди и объяснись с девушкой. А свадьбу

справить есть где. Худо-бедно, у меня свой дом. Невестка поживет пока в кишлаке, а тебе я отдам свой мотоцикл, будешь почаще навещать нас. К тому же семейному быстрее и квартиру дадут.

— Решено,— сказала Зейнеб-апте. — Отложенное дело снегом засыпает, говорят у нас. Пусть радость к радости присоединяется и станет одним большим счастьем.

Возразить на такое пожелание было нечего. Сервер, собственно, и не собирался возражать.

РОЗА С ШИПАМИ

Не было, наверное, человека, который так обрадовался тому, что Сервер и Лейла оказались родными братом и сестрой, как Селиме. Случай счастливо разрешил все выстроенные ею планы. Младший, третий ребенок в семье, она росла избалованной, своенравной девочкой. Такой и выросла. Любила, чтобы все было так, как она хочет, но не любила трудностей. Любила, чтобы другие исполняли все ее желания, но не любила исполнять свои обязанности. Нежный, хрупкий комнатный цветочек... Когда получила назначение в Янгиер, показалось, что рухнул мир. А не поехать не могла — боялась, что не получит диплома. Зачем же она столько лет мучилась, натруживая мозги? Разве не ради этих картонных корок поступила она в техникум? Нет уж, диплома она не упустит. Мама (к тому времени отца уже не было в живых) упросила среднего сына, Наримана, добиться путевки и поехать с ненаглядной Селиме в Янгиер, присмотреть за ней... «Быть ее опорой и спиной», как говорила мама. По натуре стеснительный, необщительный Нариман не очень хотел ехать, но и отказать матери не мог.

И вот они в Янгиере. Новые люди, новая обстановка. Селиме что, уйдет в свой медпункт и нет ее целый день.

И вообще оказалось, что никакого «присмотра» за ней не требуется. На нее обращали внимание лучшие парни стройки, готовые исполнить любую ее прихоть. А Селиме умела, слишком даже умела использовать свою красоту и обаяние. «Ты бы там, в Самарканде, пустила в ход свои чары, чтобы и мне вслед за тобой не тащиться в эту богом забытую дыру»,— говорил иногда Нариман, злясь. Сестра отвечала смехом: «Не знала своих возможностей». От огорчения, неприкаянности, Нариман начал, что называется, «закладывать за воротник». Неизвестно, чем бы кончилось это увлечение, не встреть он Лиду и не сдружись с Сервером. Сервер по-товарищески старался отваживать его от рюмки, а Лида, опять-таки не без участия Селиме, прямо заявила, что не хочет иметь ничего общего с пьяницей. Нариман опомнился, взялся за ум. Как бы другими глазами поглядел вокруг и удивился: да что такое, братцы, неужели это мы, вот этими руками сотворили такое диво, воздвигли целый город посреди пустыни?!

А тут еще одна радость: Сервер оказался братом Лиды-Лейлы. И тот же Сервер, которого Нариман считал своим соперником, просил руки его сестры, Селиме. Ну не чудо ли это дивное?!

Радость Наримана, однако, длилась недолго. Едва Сервер объяснился с сестрой, едва они договорились о сроках свадьбы, Селиме как-то прибежала к брату возбужденная и веселая.

— Ну, братец, собирай свои шмотки, подбирай хвосты, увольняйся — конец нашей жизни «степных орлов»!— И запела: «Люблю твоих куполов синь, тополей зеленых сень! Проспекты твои широки, фонтаны серебряные звонки!»

— Что с тобой, сестренка?— удивился Нариман.— Какие шмотки, какие купола?

— Отмучился ты в этой дыре, как говаривал раньше. Поедем домой, к маме, в Самарканд!

Нариман так и сел. Селиме продолжала уже более спокойно:

— Вот слушай, как все произошло. На работе я сказала, что выхожу замуж. Что ж, говорят, Муслимов уважаемый человек стройки, поздравляем, мы рады за вас. Но, говорю я, нам тут жить негде. Говорю, решили пока поселиться у его родителей, в колхозе. Ничего страшного, отвечают. Вам и там работа найдется. Мы напишем в дирекцию вашего техникума, что свое вы уже отработали, что имеете право получить документы. Пришлют вам диплом и, пожалуйста, лечите себе на здоровье наших доблестных колхозников. Теперь понял в чем дело, ага?

— Нет,— признался Нариман.— Не понял.

— Ох, какой ты тугодум!— простонала Селиме.— Сам подумай, что удержит меня в этих краях, даже в том колхозе, если мой диплом будет в моем кармане? Возвращаюсь в Самарканд, устраиваюсь, где хочу. Театры, кино, концерты... Говорю же, конец жизни степных орлов!

— Ну, а муж? Что скажет муж?

— Во-первых, он мне еще не муж. Во-вторых, куда же он от меня денется, когда станет мужем? Говорят, куда иголка — туда и нитка.

— Так ты уже решила, что муж у тебя будет ниткой, да, сестренка? А не наоборот ли должно быть?

— Должно быть так, как хорошо и верно. А в том, что я надумала, нет ничего плохого. И для всех, кстати, учти.

— Не знаю, как Сервер, хотя впрочем, думаю, вряд ли он захочет принять участие в твоей афере, но лично я никуда не собираюсь отсюда уезжать.

— Вот как?— пришла очередь теперь удивляться Селиме.— Ты — энтузиаст строительства нового города?

— Да,— твердо ответил Нариман.— Пока ты отсиживалась в медпункте, где летом прохладненько, зи-

мой — тепло, чистенько, где говорят только на «вы» — я вкалывал как проклятый. И в зной, и в стужу, и когда песчаный «афганец» глаза открывать не давал... И горячее ел не всегда... Куда я теперь пойду от детей своих?

— Опомнись! От каких детей?

— Дома, которые я построил,— мои дети. И я мечтаю, чтобы в одном из них росли мои настоящие дети.

— Та-ак,— протянула Селиме,— с тобою все ясно. Да я тебя особо и не тяну. Без тебя нам у мамы будет просторнее.

— А теперь послушай меня, сестра,— встал Нариман.— Выкинь из головы эту дурь. Чтоб я больше не слышал такие разговоры. У тебя есть любимый, у вас будет семья, пойдут дети — кто же от хорошего ищет хорошее?! У нас принято, что муж — иголка в семье, а не жена. Во всяком случае, Сервером помыкать ты не сможешь, попомни мои слова. Не на таковского нарвалась.

— Ну, уж тут я сама разберусь,— передернула Селиме упрямо плечами.— А ты поступай как хочешь.

ГДЕ ОНА, СИНЯЯ ПТИЦА?!

Свадьба была большая, шумная. Селиме вся расцвела, казалось, к ее красоте красота прибавилась. Нариман настороженно вглядывался в сестру, помня их разговор. Селиме к нему больше не возвращалась. Слава богу, думал Нариман, образумилась вроде... А чего ей быть недовольной? Сабри-ага и Зейнеб-апте выделили молодым самую большую светлую комнату в доме: ковры на полу и стенах, хорошая мебель, радиоприемник, лучшей по тем временам телевизор —«Рекорд». Зейнеб-апте ничего не давала делать снохе: сама готовила, стирала, убирала (она, кстати, найдя родных, будто помолодела, и болезни словно отступили от нее). Хло-

поты свекрови нисколько не смущали Селиме: она считала, что так и должно быть. В колхозном медпункте пустовало место, но Селиме не спешила устраиваться на работу. Целыми днями валялась на диване, слушала пластинки или читала журналы.

Сервер приезжал домой через день. Он ездил бы каждый день, но это было очень трудно — утром и вечером шестьдесят километров — не шутка, конечно. Да и погода бывает разная... Дом, в котором обещали квартиру Серверу, построили, но квартиру не дали; в первую очередь обеспечивали жильем семьи с детьми — спорить с этим Сервер не мог. А Селиме устроила скандал: ты, мол, такой-сякой, даешь водить себя за нос, не стараешься ради своей семьи... Сколько ни пытался Сервер образумить жену, объяснить, что люди правы, ничего не пожелала понять. Это была первая крупная ссора молодоженов.

Дальше — больше: Сервер редко когда видел на лице жены улыбку. Приезжает домой, усталый, замотанный, а дома его вместо ласки и отдыха ждет холодная, недружелюбная обстановка, если не очередная ссора. Сервер считал себя виноватым: квартиру не смог получить, на целые дни оставляет молодую жену дома одну, со стариками, с которыми она едва знакома, с которыми ей, по сути, и поговорить не о чем. В кишлаке нет знакомых сверстников, с кем были бы общие интересы, некуда сходить... Да, все это так. Но не навечно же. Придет время, они будут вместе, трудности останутся позади. Человек должен уметь ждать. Иначе на свете просто невозможно было бы существовать. Сервер уже не раз говорил об этом жене, но если бы она могла понять! Не знал он, что Селиме уже приготовилась к решительному штурму, что она наконец-то решила осуществить свою давнюю задумку.

Сервер завел мотоцикл в сарай, быстренько умылся,

зашел к себе в комнату. Селиме лежала в кровати не раздевшись, отвернувшись к стене. Сервер присел у изголовья, ласково провел рукой по волосам жены.

— Что с тобой, Селиме? Нездоровится, что ли?

Селиме сердито отбросила его руку.

— Да будет тебе известно, дорогой муженек, мне давно нездоровится.

— Прости, не знал. А что у тебя болит?

— Душа болит, душа, понял?!— закричала Селиме, садясь на кровати.— Заживо похоронил меня в этой дыре, а еще спрашивает, что болит.

— Не кричи. Зачем родителей беспокоить?

Сервер попытался притянуть жену к себе, она обеими руками оттолкнула его.

— Не прикасайся ко мне. Керосином воняешь.

— Что? Воняю?..— Сервера будто в кипяток окунули, из головы вылетили все приготовленные вразумительные слова.— Вот как ты заговорила, милая. Керосином, значит, я воняю. А может, и п том? А может, и пылью, и железом, и асфальтом? Разве ты не знала, за кого выходишь замуж?

— Знала, да не думала, что так будет. Не знала, что ты эгоист до мозга костей.

— А что я такого сделал эго... эгоистического?

— Только о себе думаешь. О своем бульдозере. О том, чтобы перед людьми чистеньким, благородненьким казаться. А дома молодая жена пусть подыхает!

— Что ты говоришь, Селиме? Я ведь люблю тебя!

— Любишь? Не видно что-то!— засмеялась Селиме презрительно.— Любящие люди заботятся о любимой, стремятся сделать ей хорошо.

— А что я должен сделать? Скажи. Разве я тебе в чем-нибудь отказывал?

— Давай уедем отсюда, Сервер,— Селиме взяла мужа за руки, приблизила лицо к его лицу.— Уедем в Самарканд. У мамы там большой дом. Почти в самом

центре города. Все у нас там будет. А работу — какую хочешь можно найти...

Сервер осторожно высвободил руки, отошел к окну.

— Вот, значит, чего ты добивалась...— вздохнул он.— Но ты понимаешь, что требуешь невозможное?

— Если человек захочет,— нет на свете невозможного. Ради любимой, ради счастья семьи все можно сделать.

— И даже подлость?

— Спустись с небес, бедненький! Оглянись вокруг и ты увидишь, что все люди живут для себя, стараются ради себя. Очень ты нужен кому в этом Янгиере! Если бы был нужен, если бы ценили тебя — не отказали бы в квартире! Ты для них — ноль без палочки!

Сервер едва сдерживался, чтобы не взорваться. Он сделал к Селиме несколько шагов, остановился напротив тяжело дыша.

— Вот как ты, значит! Спасибо!— Сервер повернулся и пошел к двери. Потом остановился, бросил через плечо, не глядя на жену. — Уезжай в свой Самарканд. Сегодня же. Я тебя не держу. Не нужна мне такая... И себя я грязнить никому не дам. Я честный рабочий человек, и моя честь, совесть мне дороже всего. Запомни это. Прощай.

Сервер осторожно, но плотно прикрыл за собой дверь. Через минуту мимо окон дома, яростно тарахтя, пронесся мотоцикл...

Сабри-акай молча стоял у темного окна, смотрел на удаляющиеся во мраке ночи красные огоньки.

— Уехал. Не поел, не отдохнул...— проговорила Зейнеб-апте сквозь слезы. Она лежала в постели, тоже без сна.— Пойти бы сейчас к ней и сказать несколько теплых слов...

— Молчи, жена,— откликнулся Сабри-акай.— Не задалась жизнь у парня. Что уж теперь... Пусть пройдет и через это. Если любят друг друга — рано или поздно

найдут общий язык... Нет — тогда... Давай лучше спать.

Они еще долго ворочались, вздыхали, глядя на темный потолок.

ПОЧЕМ ФУНТ ЛИХА...

Увидев в субботу Сервера в общежитии, Нариман страшно удивился и тотчас почувствовал неладное. «Неужто эта глупая девка все же начала гнуть свое?»— подумал он со страхом. Так оно и оказалось. Правда, Сервер не стал слово в слово передавать их ссору с Селиме, но Нариман и без того знал, какие злые, несправедливые слова способна наговорить сестра. Иначе Сервера нельзя было бы вывести из себя так, чтобы он уехал и неделями не возвращался домой. Дело, видать, назрело серьезное.

— Главное, дружище, держи себя в руках,— говорил Нариман, расхаживая по комнате. Ему было страшно неловко.— Она, дура, сама не знает, что вытворяет. Образование имеет, а ума не набрала. Своенравная очень, любит на своем настоять. Но ты старше ее и потому мудрее себя должен держать.

— Вот слушаю тебя, Нариман, слушаю и не могу понять, куда ты клонишь,— не вытерпел Сервер.— Я, оказывается, должен мудрее себя вести! А она? Отдает она себе отчет в том, что требует от других? Плюнь на работу, на людей, которые тебе верят, и ходи на поводке у жены! Керосином, оказывается, я воняю! Слишком вы ее избаловали, вот что я тебе скажу, Нариман.

— Ты прав, Сервер. Но ведь правильными словами сейчас делу не поможешь. Надо постараться семью сохранить — вот что главное.

— Хорошо. Что ты предлагаешь?

— Может, и вправду уехать вам в Самарканд, раз Селиме так уж хочет. Там вам будет легче во всех отношениях. А работа ведь везде работа...

— Вот спасибо, приятель, удружил, что называется,

насовестовал!— Сервер грохнул кулаком по столу.— Не бывать этому! Если нужно сохранить семью такой ценою — я ее не сохраню. Вот такой-то бесхребетностью, беспринципностью вы, видать, и испортили Селиме. А расхлебывать приходится мне.

Хлопнув в сердцах дверью, Сервер ушел. Немного погодя и Нариман покинул общежитие. Поймав на дороге первую попавшуюся машину, он уговорил шофера поехать в колхоз, к Сабри-ага...

Селимѐ вышла на дорогу, когда ночь еще стелилась по земле: она не хотела, чтобы кто-нибудь видел, как она уезжает. Ни отец с матерью, ни соседи. Села в полупустой автобус, закрыла глаза. Вот она и свободна. Через несколько часов ее встретит город, большой, красивый, как пела она в той песне,— с голубыми куполами, серебряными фонтанами.

Но радости почему-то не было. Наоборот, что-то острое и щемящее подкатило к горлу, из глаз брызнули слезы. Все-таки не подло ли поступила она, уйдя из дому как воровка, на заре, не попрощавшись с родителями, не сказав им даже пару добрых слов? Они ведь относились к ней, к Селиме, как к родной дочери, готовы были на руках носить. А она взяла и плюнула им в лицо. А если посудить, разве Сервер в чем виноват? Старался, бедняга, как мог. День наломается на работе, а потом еще целый час едет на мотоцикле, к ней спешит, а она что сделала в благодарность?

К обеду она была в Самаркандс. Ее, конечно, никто не встречал. Хотела поймать такси, но не получилось. Пришлось тащиться в автобусе. Пока добралась до дома с большим чемоданом, намаялась. Любимый город показался ей не только непривлекательным, а даже враждебным, холодным. Проклиная тяжелый чемодан, вошла она в дом. Мать, увидев ее, не обрадова-

лась, не кинулась, как бывало, ее обнимать и целовать, а уронила из рук половник, медленно опустилась на стул, глядя на дочь как на привидение.

— Селиме, кызым, почему одна? Где же зять?— прошептала старушка, предчувствуя беду.— Почему не вместе приехали?

— Он не захотел...— выдавила из себя Селиме, крепясь, чтобы не разрыдаться.— Мы с ним разошлись.

— Что ты сказала? Что ты сказа...— старуха начала медленно валиться набок, схватившись за сердце. Селиме едва успела подхватить ее.

Состояние матери несколько дней было чрезвычайно тяжелым. Держалась она на уколах. Потом сердце немного отпустило, старуха смогла ходить по дому. Селиме почувствовала возможность выйти в город, по которому так соскучилась. Загляпула к одной подруге, позвонила другой — никого не нашла. Все школьные товарищи, подружки по техникуму давным-давно разлетелись по разным уголкам страны. У многих были семьи, дети... Забрела в кинотеатр — не усидела до конца сеанса, ушла. Решила, по старой памяти, посидеть в «Кафе-мороженое», обдумать наедине с собой свое положение. Выбрала в уголке место, заказала мороженое, стакан соку. И тут же к ней подсели двое — длинные, тощие парни со взбитыми прическами, в модных брюках, в ярких разрисованных рубашках. Шеи и лица их были почему-то морщинистыми, землистого цвета. От них разило винным перегаром... и еще чем-то, Селиме не могла понять. «Ах, одеколоном «Шипр»!— догадалась она.— Надушились же, ужас, за километр, наверное, комары дохнут!»

Селиме вспомнила, как она никак не могла заставить Сервера освежить лицо одеколоном после бритья. «Зачем?— смеялся Сервер.— Умоюсь чистой водой —

что может быть лучше?! Каждый человек должен иметь свой запах». А она, Селиме, сказала ему, что от него керосином воняет...

Глядя на морщинистые, дряблые шеи стиляг, она вспомнила крепкую бронзовую шею мужа, его твердые руки, покрытые золотистым пушком.

— Может, ханум хочет закурить?— протянул один из парней пачку сигарет Селиме. Другой щелкнул зажигалкой.— Курите. Болгарские, самые лучшие.

— Спасибо, не курю,— сухо ответила Селиме. Куда запропастилась эта официантка? Несла бы уже поскорее ее заказ, отвязалась бы от этих балбесов...

Хоть парни сели за стол позже Селиме и ничего не заказывали, официантка принесла им бутылку вина, конфеты. Видимо, завсегдатаи кафе — здесь знают их вкусы.

— Выпейте с нами,— опять предложил тот, что пытался угостить Селиме сигаретами.— И хватит грустить, крошка, на свете предостаточно людей, которые и без нас решат мировые проблемы.

— Чем омываться нам, как не вином, друзья?— пропел второй, показав желтые, кривые и редкие зубы.— Не обходись и дня без песни и вина; на землю выливай из полной чаши каплю. А после всю уж осушай до дна.

Ишь, Хайяма вызубрил, подумала Селиме, отвернувшись. Иные дурочки, наверное, с ног валятся, услышав такое. Тоже мне чучела! Проблема! Хайям! Культуры, называется, нахватались!..

Официантка принесла мороженое. Селиме, низко опустив голову, принялась есть. Хоть теперь бы отвязались. Но парни и не думали оставлять ее в покое. Времени, видать, было у них уйма. Да и решили, кажется, что здесь что-то у них может и наклюнуться.

— А может, она глухая?— стараясь уязвить ее, сказал первый.

— К тому же немая?— поддержал приятеля второй, «поэт», по ее определению.

— Ай-яй-яй, такая молодая — и уже и немая, и глухая.

— Потому, наверное, и муж выгнал из дому,— предположил «поэт», кивнув на обручальное кольцо Селиме.— Кому нужна такая жена, которая и говорить не умеет, и смеяться...

— И в постель ложиться,— хохотнул его приятель.

— Вот что, молодые люди,— отложила Селиме ложечку, вконец потеряв терпение.— Если веселитесь — веселитесь, пьете — пейте, зачем вы к людям пристаете? Вам весело, другому, быть может, грустно, вы глаза залили и счастливы, а другой, возможно, в горе...

— Если ты в горе, крошка, дело легко поправимо. Возьмем вина, пойдем вон к Альфреду, полабаем рок, то да се в смысле секса... и все будет на мази.

— Ваше счастье, что муж задерживается,— встала с места Селиме.— Петухи несчастные. Он бы вам показал, как к чужим женам приставать!— Кинула на стол деньги и нервными шагами поспешила к выходу.

Селиме бежала по улице, готовая вот-вот разразиться слезами. Ей казалось, что исплевали, вываляли ее в грязи.

«Хулиганы, недоноски!— скрипела она зубами.— Да будь Сервер тут, он бы вас на кусочки разорвал, так бы стукнул лбами друг о друга — глаза бы ваши выпученные через затылок вылетели!».

Селиме сейчас даже сама поверила, что она ждала мужа, который мог, появись вовремя, задать жару глупым и пошлым приставалам, возомнившим себя бог весть кем. Да вы ногтя моего мужа не стоите. Он честен и чист, как ребенок, благороден, как сказочный богатырь, он не проводит время в каких-то задрипанных кафе, он строит дома, он строит новый город!

Селиме вдруг будто споткнулась, остановилась по-

среди дороги. О каком муже она говорит? Нет у нее никакого мужа. Был, да она сама оттолкнула его, отшвырнула от себя, плюнула ему в душу, отвоевала себе свободу. «Свободу»— шататься по кафе, изображая из себя светскую даму, по городу, где она никому не нужна, где все заняты своими делами, где каждый может обидеть, оскорбить, и где некому ее защитить!

Селиме в дом вбежала так, будто за нею гналась целая свора бешеных собак. И застыла у порога: посреди комнаты стояла, подбоченясь, глядя на нее с ничего хорошего не обещающей улыбочкой тетушка Эдае — моложавая, лет сорока женщина, младшая сестра покойного отца. Она очень любила Селиме, одаривала всякой всячиной, но и спуску ей никогда не давала. А язык у Эдае был остер и резал больно. Поэтому Селиме и опешила, увидев ее. Поняла, что не избежать нелицеприятного разговора.

— Явилась, наша красавица, явилась, наша ненаглядная, не запылилась! — разразилась ядовитым смехом тетушка.— Маму чуть не убила, тут же намазала губки, покрасила глаза свои бесстыжие, и пошла по городу — авось какой-нибудь увяжется, авось, клюнет какой рыбак на гнилую приманку! У-у, несчастная, не родилась бы такая вообще на нашу голову! А еще комсомолка называется, да я бы такую широкою метлою вымела из комсомола и не охнула! Видите ли, ей скучно, оказывается, в кишлаке культуры не хватает! А ты бы работала, как все люди, как вон твой муж — некогда было бы кукситься. Сама опозорилась на весь мир и нас опозорила перед людьми! Все кругом смеются над нами, над нашим родом, понимаешь?! А вообще, так нам и надо, несчастным. Не смогли воспитать тебя человеком, вырастили эгоистку, вертихвостку, тьфу, смотреть противно! Нет у меня такой племянницы Селиме, иди, бери свой большой чемодан и катись

из этого дома, куда хочешь, хоть на край света — лишь бы с глаз наших долой.

Слова тетушки оказались последней каплей, переполнившей чашу. Селиме упала на диван и зарыдала, сотрясаясь всем телом. Эдае растерянно умолкла. Она ожидала от племянницы всего: и отпора, и злых слов, но только не этого. Эдае поняла, что племянница и сама исстрадалась, что у той у самой сгорела, обуглилась душа от горя...

Она неслышно подошла к Селиме, тронула кончиками пальцев ее волосы. Селиме вдруг перестала плакать, словно во что-то вслушиваясь, вся вытянулась, как струна. Ну да, толчок, удар, непонятный, незнакомый, сладостный удар под самым сердцем...

Селиме зарыдала пуще прежнего, схватила обеими руками руку тетушки, исступленно прижала ее к лицу, обжигая губами, обливая слезами...

— Не бросила я его, Сервера...— шептала она сквозь рыдания.— Во мне он тут... со мной... Глупая я была... дура...

— А я что говорю?— засияла Эдае.— Вот и хорошо, вот и слава богу!.. Иди умойся, джаным, свари кофе. Умираю от жажды. Посидим, обдумаем твое положение, не спеша, без нервов. Придумаем, как вернуться к мужу с достоинством... Как ему скажем, что у него будет сын... или дочь.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

На улице, за дощатым забором, отчаянно сигналила машина. Сервер остановил бульдозер, приглушил мотор и, встав на ноги, выглянул за забор. На улице стоял запыленный «газик». Знакомый мамаджановский «газик». Спрыгнув на землю, направился к машине.

За рулем сидел знакомый шофер, широкоскулый Хамдамбай. Из-за его спины выглядывал отец — седая

голова, худое длинное лицо, покрытое бронзовым загаром.

— Гудим, гудим, а вы ноль внимания, Сервер-ака,— широко осклабился Хамдамбай.— Салом алейкум,— подал руку.

Сервер пожал ее, виновато взглянул на отца. Сабриакай отвел глаза. В неурядицах сына в равной степени виноватым считал он и себя.

Заглянув внутрь машины, Сервер увидел, что рядом с отцом сидит Нариман (Сервер сухо кивнул ему), а рядом с водителем — сестра, Лейла. Целая делегация собралась, подумал он.

— Давай глуши свою тарахтелку и садись в машину, ага,— сказала Лейла, обернувшись к нему. Она была празднично одета.

— У меня еще четыре часа рабочего времени,— ответил Сервер хмуро.

— Садись, оглум,— попросил отец тихо.— Поговорить нужно.

Сервер вздохнул, молча повернулся и зашагал на площадку, где стоял его бульдозер. А отцу за что эти мытарства? Не зря, видно, говорят, один дурень бросит в колодец камень — сто умных людей измучаются, пока его вытащат.

«Газик» развернулся и весело помчался по разбитой дороге новостройки. Сестра пересела назад, к своему ненаглядному Нариману, а Сервер занял ее место. Сидел прямой, напряженно глядел перед собой. Ему неудобно было, что неприятный разговор произойдет при чужом человеке, при Хамдамбае. Хоть бы дождались общежития. Там уж, наверное, втроем насядут: «Ты умнее, мудрее, должен уберечь семью, траля-ля, траля-ля...»

Отец не стал дожидаться общежития, заговорил. Но вовсе не о том, чего боялся услышать Сервер. Сабриага вдруг сообщил сыну печальным, каким-то сломан-

ным голосом, что подал заявление об уходе на пенсию.

— Что ты говоришь, отец?— живо обернулся назад Сервер.— Какая пенсия?

— Обычная,— покивал головой Сабри-акай.— Старость, сынок... Годков-то у меня немало уже... И здоровья не стало... Порою так поясницу схватит — выпрямиться не могу. Опять-таки забывчив стал, как это... склероз. В общем, отвоевался старый солдат, дети мои. Оставляю позиции вам, молодым, вы уж держите крепко рубежи...

Сервер коротко взглянул на отца и по его сердцу словно ножом полоснули: стар стал отец, болен, как он сам до сих пор не замечал этого? Занят работой, окунулся с головой в свои беды и горести и ничего-то вокруг не замечает. Так пойдет и дальше — в один прекрасный день проснется и не застанет в живых отца своего, друга, советчика, опоры...

При мысли об этом Серверу его собственные неурядицы показались ничтожными, мелкими, надуманными.

Проскочив Янгиер (возле общежития Хамдамбай даже не подумал притормозить), «газик» вылетел на шоссе, ведущее в Самарканд. Сервер понял, что надумали его родные.

— Жизнь, дети мои, будто вода, которая течет меж пальцев,— продолжал Сабри-ага, как бы продолжая прерванный разговор.— Люди издревле приспособили разные сосуды, чтобы держать воду в одном месте. Кумганы, кувшины, ведра, бочки, канистры... А для удержания, накопления жизни еще не придумано никакого сосуда. Но и ее можно не упускать меж пальцев. Для этого жизнь надо держать в сердце своем, оно такой сосуд — все в него вместится. И хорошее, и плохое. Хорошее, между прочим, перетопит плохое, сведет на нет. И на дно души лягут крупинки настоящего, ис-

тинного, подобно крупинкам золота на лотке золотоискателя.

— Истинная правда, Сабри-ака!— восхищенно поцокал языком Хамдамбай.

Сервер не знал, известно ли этому парню положение дел в его семье, не знал, догадывается ли тот, к кому обращен истинный смысл слов отца, но сам он прекрасно понимал, что ему на это возразить нечего.

— Дела людские — как вот вены в теле человеческом,— говорил между тем отец,— сообщаются между собой. И сообща держат жизнь человека. Делом своим, словом мы всегда как-то воздействуем друг на друга. Иногда плохо, иногда — хорошо. Но должны стремиться делать хорошо. Особенно родные между собою. Споткнулся кто — должны руку подать, упал — поднять, ошибся — поправить.

Машина летела по глади асфальтовой дороги, наматывая на колеса километр за километром. По обе стороны шоссе тянулись беспредельные хлопковые поля. Сердце Сервера заливала какая-то теплая волна, смывая с каждым наплывом боль и обиду, тоску и горечь. Скоро он увидит свою любимую, своенравную Селиме. Ни словом не упрекнет ее. Только вот как она его встретит? Ведь опять он едет к ней весь в масле, пропахший керосином, даже не переоделся... Не скажет ли, что специально так сделал?..

Что ж, может, жена и права: и в кино ей хочется, и с мужем побыть, и в гости сходить... Людей посмотреть, себя показать... Вполне естественные желания для молодой женщины. И он, муж, впредь должен их учитывать...

— Хамдамбай, сынок, тормозни-ка здесь,— сказал вдруг Сабри-ага. Машина въезжала на широкий новый мост через реку Зарафшан. Слева возвышалась, как бы убегая в небо, к звездам, гора Чабан-ата.

Шофер взял руль влево, остановил «газик».

— Идемте, дети,— вылез из машины Сабри-ага.— Я вам покажу одну чудесную картину. Много лет назад я заново начинал свою жизнь с этой горы. Тогда я был один-одинешенек. С тощей котомкой за плечами,— в ней даже куска хлеба не было. Теперь у меня есть все. Заработал вот этими руками. И, главное, у меня есть вы, дети, мои родные. Разве найдете на свете богаче человека, чем я?

И они,— пожилой человек и молодые — Сервер, Лейла, Нариман, полезли на гору, подавая друг другу руки, помогая, поддерживая друг друга...

Хамдамбай поглядел им вслед, покачал головой, много же, дескать, люди на свете странностей выкидывают, закурил и пошел к реке. Умоется хоть, освежится, пока попутчики слазят на эту гору с пустой, ровной, как темя плешивого, макушкой...

А в это время далеко от этого места в обычно тихом, сонном доме стояла суматоха. Три женщины, то плача, то смеясь, укладывали большой желтый чемодан. Пройдет несколько часов, и когда усталый запыленный «газик» подкатит к калитке, женщины выйдут навстречу с этим чемоданом.

— Ие!— воскликнет удивленно Хамдамбай.— Гости к вам, значит, а вы — в гости? Нет, так дело не пойдет. Вначале пригласите нас в дом, накормите, напоите — потом уж поедем.

— И двери нашего дома, и сердца наши вам всегда открыты!— ответит на это старуха, сопровождавшая молодую женщину с чемоданом. А женщина уронит свою тяжелую ношу на землю и кинется на шею Сервера. Тот подхватит ее, прижмет к груди. Все со счастливой улыбкой будут смотреть на них.

— Оббо,— скажет опять Хамдамбай.— Видать, здорово соскучились. Вовремя, значит, я вас привез, Сервер-ака. В другой раз не отпускайте жену так надолго.

— Не отпущу,— ответит Сервер.

В это время у тетушки Зейнеб, которая сидит в доме с соседкой, вдруг зазвенит в ухе.

— В каком ухе звенит?— спросит она у подруги.

— В левом,— ответит соседка.

— Угадала, милая. Значит, все хорошо,— скажет Зейнеб-апте.— С меня муджде.*

— Ваше счастье,— это наше муджде,— ответит старуха.— Ведь мы все родные...

И две женщины в искреннем порыве расцелуются...

1957.

---

* Муджде — подарок за радостную весть.



СОДЕРЖАНИЕ

Зеленые волны 3

Родные 70